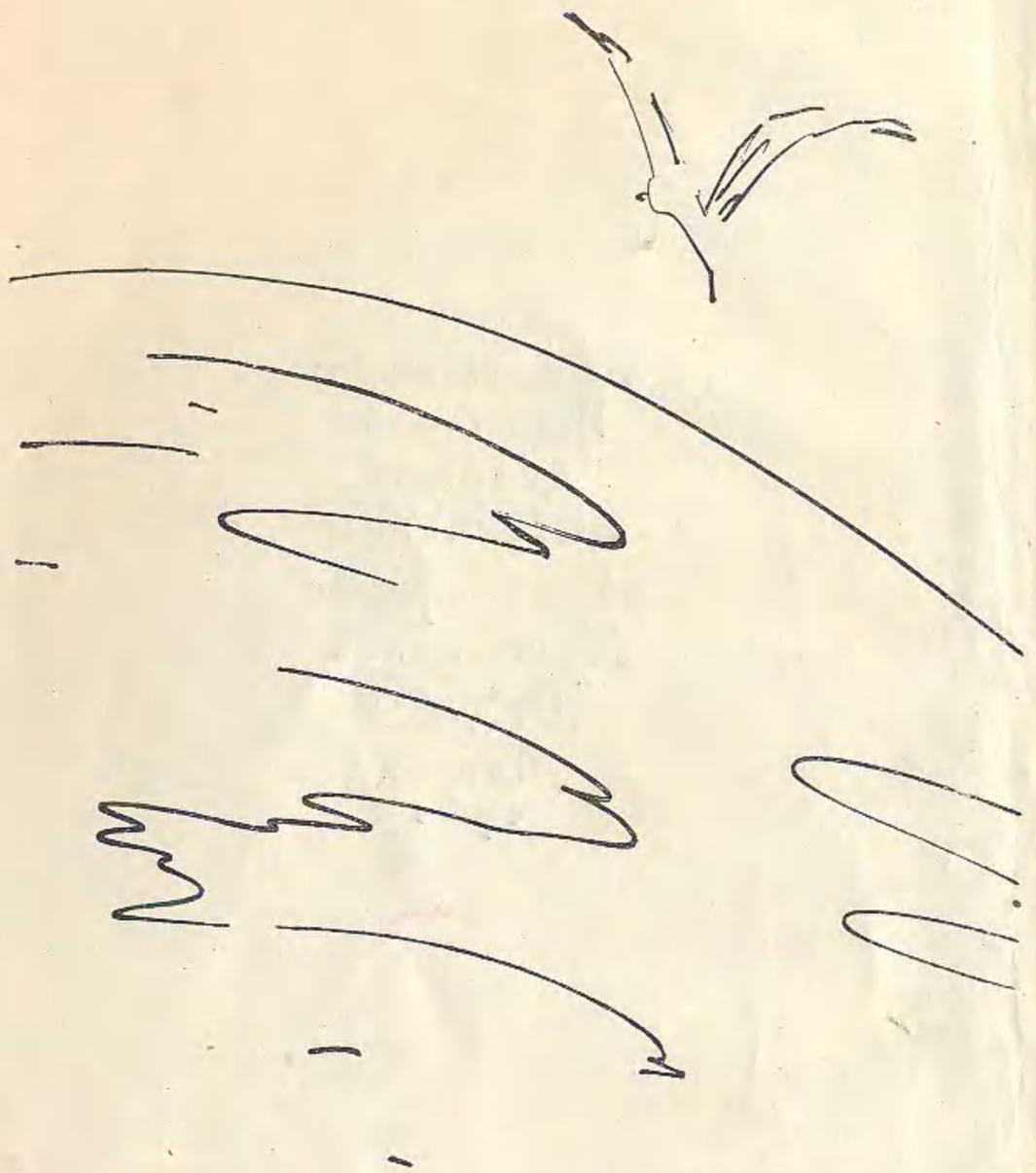
АНАТОЛИЙ МОШКОВСКИЙ

Белые бруны

1961

Государственное
Издательство
ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Министерства
Просвещения
РСФСР
Москва
1961



Рисунки
И. Ильинского и В. Трубковича

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

Анатолий Мошковский

Белые бурунчики

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит учителей и учащихся нерусских школ сообщить свои отзывы об этой книге по адресу: Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

БРАТ

Мы живём в небольшóм райóнном городкé... Но вам ведь всё равнó, как называ́ется наш городóк. Тóлько не обижа́йтесь на меня́, сейча́с я всё объясню́. На окра́ине городка́ нахóдится большóй завóд, на котóром и рабóтает мой ста́рший брат Па́ша. Стекля́нные кры́ши дли́нных цехóв блестя́т, как парники́ в совхóзе и́мени Валéрия Чка́лова, но под стекля́нными ра́мами завóда выра́щиваются не огурцы́ с помидóрами, а кое-чтó другóе.

Па́ша, приходя́ с рабóты, никогда́ подрóбно не расска́зывал, как прохóдят испыта́ния послéдних ма́рок реакти́вных истреби́телей. Как ни кля́лся я, что никому́, ну никому́-никому́ не скажу́, Па́ша улыба́лся на э́то, запуска́л свою́ ручи́щу в мои́ вóлосы и растопы́ренными па́льцами, как гребешкóм, зачёсывал их наза́д и вéсело пригова́ривал:

— Во́лосы, брато́к, даны́ челове́ку не для того́, что́бы торча́ть в ра́зные сто́роны...

Внача́ле, когда́ я учи́лся в четвёртом кла́ссе, я оби-жа́лся на бра́та: что́ он мне, не доверя́ет, что ли? А вот когда́ перешёл в пя́тый — всё по́нял и переста́л ду́ться.

Так что не обижа́йтесь, пожа́луйста, что не скажу́ вам, как называ́ется наш городо́к, зато́ всё остально́е расскажу́ точь-в-то́чь как бы́ло. А е́сли не ве́рите — спроси́те у Се́ньки Ма́рченко, кото́рый сиди́т через па́рту от меня́ и уме́ет здо́рово шевели́ть уша́ми. Его́ оте́ц дружи́л с Па́шей, рабо́тал на одно́м заво́де и мо́жет подтверди́ть всё сло́во в сло́во.

Кро́ме ма́мы и Па́ши, у меня́ ещё есть мла́дшая сестрёнка Ва́ля — по-взро́слому, зна́чит, Валенти́на, — но про неё не скажу́ ни сло́ва — девчо́нка! Да и что хоро́шего мо́жно сказа́ть о челове́ке, кото́рый то́лько и зна́ет, что вози́ться с ку́клами, визжа́ть при ви́де кро́шечного лягушо́нка на мо́крой тропи́нке в саду́, полдня́, закуси́в язы́к, бессмы́сленно скака́ть через верёвку? Нет, она́ не в счёт... Не зна́ю, заче́м то́лько родя́тся э́ти девчо́нки! Как бу́дто нам без них пло́хо.

А вот Па́ша... Да, Па́ша — э́то совсе́м друго́й разгово́р.

Це́лый день над на́шим до́миком с рёвом и сви́стом проно́сятся самолёты — стёкла в око́нных ра́мах пры́гают и стуча́т, ку́ры куда́хчут, как чумны́е, вспомина́ют с перепу́гу, что они́ пти́цы, и, вы́тянув вперёд ше́и, перелета́ют через забо́р на бре́ющем полёте. А ма́ма выхо́дит на крыльцо́, засу́нув ру́ки под зелёный пере́дник, и говори́т, щу́рясь на я́рко-голубо́е не́бо:

— Вида́ть, Па́шка-сорване́ц про́бует но́вый аэропла́н. Ку́рам снести́ яи́чко споко́йно не даст!..

Смешна́я ма́ма! Па́шкой-сорванцо́м она́ называ́ет не како́го-то там пацана́ с коша́чьими цара́пинами на носу́, а лётчика-испыта́теля, хра́брого челове́ка, а аэропла́нами — реакти́вные истреби́тели и скоростны́е бомбардиро́вщики! В о́бщем, в своё вре́мя она́ учи́лась в церков-

213—2

ноприхо́дской шко́ле, и в те́хнике её, на́до сказа́ть, сла́бо подкова́ли — реакти́вный от ПО-2 отличи́ть не уме́ет!

Домо́й Па́ша приходи́л голо́дный, уста́лый. Пе́рвым де́лом он бы́стро ста́скивал гимнастёрку, и я полива́л ему́ во дворе́ из си́ней эмалиро́ванной кру́жки Па́ша нагиба́лся, а я полива́л и све́рху гляде́л на упругие, твёрдые бугры́ му́скулов на его́ плеча́х и рука́х кото́рые тяжело́ и уве́ренно дви́гались под тёмно-кори́чневой загоре́лой ко́жей, и ду́мал: скоре́й бы и у меня́ вы́росли на рука́х, груди́ и животе́ таки́е му́скулы, а то ведь, е́сли говори́ть че́стно, меня́ боя́тся тро́гать мальчи́шки с други́х у́лиц не потому́, что я си́льный и сме́лый и́ли там би́цепсы[1] мои́ не влеза́ют в рукава́ руба́шки, — нет, где там! — а потому́, что есть у меня́ он, брат мой, Па́ша.

Полива́я ему́, я представлял, как вот э́ти больши́е шерша́вые ладо́ни ложа́тся на рычаги́ боево́го самолёта и веду́т его́ сквозь облака́ и дожди́, сквозь снег и тума́ны, а его́ зо́ркие си́ние глаза́ огля́дывают све́рху не то́лько наш городо́к, но и всю на́шу большу́ю зе́млю.

Иногда́, уходя́ на аэродро́м, он шутли́во грози́л: «Смотри́ у меня́, парши́вец, опя́ть зале́зешь в сад Ива́на Кузьмича́ — с не́ба уви́жу, спущу́сь, ру́ки оборву́!»

Но Па́ша не то́лько руга́л меня́.

Одна́жды, когда́ у нас нечая́нно сгоре́ла больша́я фюзеля́жная моде́ль[2], кото́рую мы мастери́ли всем звено́м це́лые две неде́ли, и мне так ста́ло жа́лко её, что я не смог удержа́ться от слёз, Па́ша попра́вил широ́кий по́яс, положи́л мне на плечо́ тяжёлую ру́ку и сказа́л:

— Эх, брато́к, и лю́ди, случа́ется, за́живо сгора́ют, а не реву́т...

Мне сра́зу ста́ло так нехорошо́, что я отбро́сил его́ ру́ку и убежа́л и́з дому. Ведь я твёрдо реши́л сде́латься

---

[1] Би́цепсы (би́цепс) — плечевы́е мы́шцы.

[2] Фюзеля́жная моде́ль — моде́ль с ко́рпусом. Фюзеля́ж — ко́рпус самолёта, в кото́ром размеща́ются экипа́ж (лётчик, шту́рман, ради́ст), пассажи́ры и разли́чные гру́зы.

лётчиком. Лётчиком — и бо́льше никéм. Недáром же мáма сшúла мне из стáрого кóжаного реглáна Пáши кýрточку, а вмéсто тряпúчной штáтской кéпки я со второ́го клáсса носúл настоя́щий авиацио́нный шлем на мя́гкой подклáдке кото́рый то́же подарúл мне Пáша.

Мы́лся Пáша не спешá. Он до́лго тёр шéю и дáже доставáл рукой через плечó до лопáток и совсéм не боя́лся, что холо́дная водá затекáет емý под бéлую мáйку и на ней выступали тёмные пя́тна. Пáша сúльно фы́ркал и смешнó кря́кал когдá мы́ло попадáло емý в глазá, и сердúто говорил чтобы я не жалéл воды́. Воды́... Эх, да знал бы он, что я и жúзни своéй не пожалéл рáди негó! Как он не понимáл э́того!

Пáша, Пáша... Дá, вот э́то человéк!

У меня́ с ним однá фáмúлия и óтчество, а бо́льше, éсли по прáвде говорúть, ничегó похóжего и нé было! Вы, мóжет, не вéрите, дýмаете, я хвальбúшка какóй? Эх, вы! Так слýшайте: емý, напримéр, ничегó не стóило перевезтú меня́ вплавь на своúх плечáх через рéку, за три вéчера прочитáть тяжёлый, как кирпúч, том «Клúма Самгинá», лéвой рукóй три рáза вы́жать громáдную дубóвую колóду, на котóрой во дворé рубúли дровá. Да и не тóлько э́то мог он сдéлать! Вы, конéчно, мóжете сто раз обозвáть меня́ лгунúшкой, но он при мне всóвывал пáльцы в зубáстую пасть свирéпому псу, по клúчке Буя́н, котóрого боя́лась вся ýлица, и при э́том пёс добродýшно помáхивал лохмáтым хвостóм!

Тепéрь вы пóняли, чтó э́то был за человéк?

А я? Что я! Мне тóлько и оставáлось, что поливáть емý из крýжки и смотрéть, как пролетáют над дóмом самолёты. Если мне хотéлось, как взрóслому, закурúть «Ракéту», так и тут приходúлось, спасáясь от мáмы, убегáть зá угол дóма и там курúть, — торопли́во, кáшляя и вытирáя слёзы от скребýщего гóрло éдкого ды́ма... Эх, скорéе бы подрастú! А то, покá ты мáленький, никтó не считáется с тобóй и кáждый попрекáет слóвом «мáльчик»:

«Мáльчик, курúть врéдно!»

«Мáльчик, до шестнáдцати лет на э́ту картúну вход воспрещён!»

«Мáльчик, птúцы принóсят пóльзу, в них нельзя́ стреля́ть!»

«Мáльчик, нехорошó цепля́ться за машúну.

Тёплыми лéтними вечерáми мы чáсто сидели с Пáшей на лáвочке вóзле дóма, молчáли и слýшали, как мéдленно засыпáет гóрод. Пóмню, Пáша говорúл мне, что я, навéрно, доживý до тогó врéмени когдá не нýжно бýдет бо́льше стрóить ни истребúтелей, ни бомбардирóвщиков, потомý что нéкого и нéзачем бýдет истребля́ть и бомбардировáть, а все лю́ди на всей бо́льшóй землé стáнут жить в дрýжбе. И тогдá наш народ, навéрно, начнёт выпускáть такúе реактúвные пассажúрские кораблú, что на них мóжно бýдет из нáшего гóрода за полдня́ без пересáдки долетéть до Австрáлии úли дáже до сáмой Антарктúды.

— И ты бýдешь их испы́тывать? — вскрúкнул я, вскáкивая с лáвочки.

— А ты что дýмаешь? Мóжет, и бýду, — отвéтил Пáша, подпёр рукóй подборóдок и дóлго-дóлго слýшал, как в тёплой вечéрней тишинé бьют часы́.

Бой раздавáлся с дрéвней цéркви. Говоря́т, лет пятьдеся́т не звонúли колоколá э́той цéркви. А вот большýщие часы́ на высóкой бáшне до сих пор хóдят тóчно и испрáвно и отбивáют кáждые пятнáдцать минýт. Если в нéбе не гудя́т самолёты, то с любóго концá городкá слы́шен э́тот бой.

Так вот, в э́тот вéчер услы́шал Пáша бой часóв, закúнул нóгу зá ногу, задýмался, а потóм грýстным гóлосом сказáл:

— Не успéешь вы́курить папирóску — бьют чéтверть, не успéешь дойтú до аэродрóма — бьют, не прочитáешь и двадцатú странúц кнúги — бьют. Бьют и бьют. Вот так, братóк, летúт врéмя и жизнь. Не успéешь и оглянýться,

как набью́т они́ тебе́ полсо́тни лет. А что ты сде́лал за э́то вре́мя? Ничего́. А мно́гое мо́жно сде́лать за пятьдеся́т лет. Очень мно́гое...

Я ничего́ не отве́тил ему́ тогда́, но в душе́ был глубоко́ не согла́сен с ним. Хорошо́ так говори́ть, когда́ тебе́ уже́ наби́ло два́дцать четы́ре го́да, а каково́ же нам, ребя́там? Для всех дел малы́! Нет, э́то, наве́рно, взро́слые наро́чно приду́мали тако́й несоверше́нный механи́зм, чтоб часовые стре́лки ползли́ ме́дленно.

Но Па́ша всё ре́же и ре́же сиде́л по вечера́м со мной на ла́вочке во́зле до́ма.

Приходя́ с работы он, обжига́ясь ща́ми, торопли́во ел, бы́стро переодева́лся в се́рый шта́тский костю́м, кото́рый ма́ма ка́ждый день специа́льно отгла́живала для него́. Брю́ки он надева́л очень стра́нно: влеза́л на стул и осторо́жно, сло́вно они́ бы́ли стекля́нные и могли́ полома́ться, погружа́л но́ги в штани́ны.

В непривы́чном костю́ме он сра́зу станови́лся не похо́жим на себя́, и мне бы́ло да́же ка́к-то нело́вко с ним. Хотя́, е́сли хороше́нько пригляде́ться, всё равно́ мо́жно бы́ло догада́ться, что он лётчик, — так по-осо́бенному он ходи́л, смея́лся и смотре́л. Вы спро́сите — как? Объясни́ть э́того я вам не могу́, ведь я никако́й не писа́тель и по литерату́ре у меня́ да́же стои́т тро́йка в журна́ле, и Ве́ра Алекса́ндровна пригрози́ла, что, е́сли не испра́влюсь, в че́тверти тро́йку вы́ставит. Так что са́ми лу́чше понаблюда́йте за людьми́, кото́рые лета́ют в во́здухе, и без моей по́мощи всё поймёте. Лётчики совсе́м осо́бенные лю́ди, и их не спу́таешь ни с кем!

Пото́м Па́ша до́лго крути́лся перед зе́ркалом вро́де сестрёнки Ва́ли, мо́рщась от бо́ли, зачёсывал наза́д жёсткие, как ко́нская гри́ва, чёрные во́лосы, слюни́л па́лец и пригла́живал чёрные, то́чно под лине́йку проведённые са́жей бро́ви и куда́-то пропада́л. Когда́ я ложи́лся спать, его́ ко́йка всё ещё была́ пуста́; когда́ я просыпа́лся, он уже́ шага́л на свой аэродро́м.

Но вот одна́жды я уви́дел тако́е, что да́же глаза́м свои́м сра́зу не пове́рил и остолбене́л: неуже́ли э́то мой Па́ша?

В на́шем го́роде есть парк, обнесённый высо́кой стено́й из серебри́стых металли́ческих пру́тьев с о́стрыми наконе́чниками све́рху, похо́жими на пи́ки. В па́рке пока́зывали кино́ и ра́зные вы́ставки, в нём мо́жно бы́ло покрути́ться вниз голово́й на ма́леньких самолётиках; покача́ться на каче́лях и уви́деть себя́ в во́гнутых и вы́пуклых зеркала́х то то́лстым, как бо́чка, то худы́м и вы́тянутым, как селёдка. Но, чтоб попа́сть в э́тот парк, ну́жно купи́ть в око́шечке у тётеньки с борода́вкой на подборо́дке голубо́й биле́тик за рубль. Тогда́ ещё де́ньги бра́ли за вход. А где нам, ребя́там, взять их? Вот мы и забира́лись в парк не через гла́вный вход, а перелеза́ли через огра́ду в са́мом да́льнем углу́, куда́ ре́дко загля́дывал милиционе́р и где горе́ла всего́ одна́ ла́мпочка.

Так вот, перемахну́ли мы одна́жды огра́ду, идём по ора́нжевым от кирпи́чного песка́ доро́жкам во́зле моло́деньких ака́ций и спо́рим, что ле́гче бы́ло для Чка́лова: пролете́ть под фе́рмами мо́ста или соверши́ть беспоса́дочный полёт через Се́верный по́люс. Идём, зна́чит, спо́рим, шуми́м — да́же в уша́х звени́т, — и вдруг я ви́жу... Нет, вы то́лько поду́майте, кого́ я уви́дел на скаме́йке! Па́шу... И с кем!

Сра́зу что́-то бо́льно толкну́ло меня́ в грудь, сло́вно ка́мнем уда́рили. Да́же ещё больне́й. Я останови́лся, бу́дто но́ги отняли́сь, и сказа́л ребя́там:

— Идёмте по ле́вой доро́жке, так бли́же до кино́.

Но ребя́та уже́ всё уви́дели, и долговя́зый Жо́рка Соро́кин, учи́вшийся в седьмо́м кла́ссе, как черепа́ха вжал го́лову в пле́чи и проти́вно захихи́кал:

— Гляди́те-ка! Лёшкин Па́шка!

Впервы́е я покрасне́л за своего́ бесстра́шного бра́та. И как покрасне́л!

Па́ша сиде́л на желе́зной скаме́йке с како́й-то де́вуш-

кой в зелёном пла́тье и больши́ми ко́сами с шёлковым ба́нтом, то́чно таки́м, как и у на́шей Ва́льки! Я всегда́ дёргал за э́тот бант, когда́ хоте́л позли́ть сестрёнку: дёрнешь за ко́нчик — и бант развя́зывается, как шнуро́к на боти́нках.

И сиде́ли они́ ка́к-то стра́нно: так бли́зко друг к дру́гу, сло́вно на скаме́йке не хвата́ло им ме́ста, а ведь скаме́йка-то была́ пуста́я, ещё бы семь челове́к помести́лись на ней!

Так, зна́чит, вот почему́ не сиди́т он бо́льше со мной на деревя́нной ла́вочке во́зле на́шего до́ма! На э́той жёсткой желе́зной скаме́йке в па́рке, куда́ мо́жно пройти́ то́лько за рубль — да и за э́ту плати́ть ещё на́до, — ока́зывается, интере́сней сиде́ть Па́ше!

И, хотя́ ребя́та рысцо́й пробежа́ли во́зле той скаме́йки, мне почему́-то ста́ло о́чень сты́дно, и я ре́зко сверну́л вле́во и помча́лся по боково́й доро́жке. А когда́ мы вдо́воль нагуля́лись в па́рке и выходи́ли через гла́вный вход и то́лстая стару́шка билетёрша, хорошо́ нас зна́вшая, всплесну́ла рука́ми: «Не ви́дела я, что́бы вы входи́ли сего́дня в э́ти воро́та!» — и ребя́та, надрыва́я живо́тики, дру́жно захохота́ли, мне бы́ло совсе́м не ве́село.

Я шёл и упо́рно ду́мал: как же могло́ получи́ться, что ме́жду на́шей дру́жбой вста́ла э́та длиннонóгая?

Перед до́мом оглуши́тельно визжа́ли девчо́нки. Две из них глу́по крути́ли над са́мой землёй бельеву́ю верёвку, а Ва́лька бы́стро пры́гала через неё сра́зу обе́ими нога́ми, как стрено́женная ло́шадь[1]. Пры́гала Ва́лька так стара́тельно, лицо́ её бы́ло таки́м серьёзным, сло́вно де́лала она́ стра́шно ва́жное де́ло. Все они́ таки́е...

Не зна́ю почему́, но меня́ тогда́ тако́е зло взя́ло на неё — захоте́лось поби́ть. Стал вспомина́ть, за что бы дать ей подзаты́льник. В понеде́льник наябедничала ма́ме про разби́тое окно́ — за э́то уже́ реве́ла; в сре́ду на-

[1] Стрено́женная ло́шадь — ло́шадь со свя́занными пере́дними нога́ми.

сплетничала бра́ту, что я пусти́л «това́рный по́езд» из но́са Ко́льки Петухо́ва, кото́рый укра́л у моего́ лу́чшего дру́га Се́ни Ма́рченко ре́дкую ма́рку Берму́дских острово́в, — за э́то то́же поколоти́л её...

Бо́льше ничего́ я не мог припо́мнить. Что ж, мо́жно сту́кнуть и так, что́бы наперёд не жа́ловалась!

Я подбежа́л и ре́зко дёрнул за верёвку, когда́ она́ находи́лась как раз под нога́ми сестрёнки. Она́ споткну́лась, взмахну́ла рука́ми, но удержа́лась и не упа́ла. Мне ста́ло гру́стно, и я не́хотя поплёлся домо́й. Я поднима́лся по скрипу́чим ступе́нькам, а в тёплом вече́рнем во́здухе печа́льно раздава́лся перезво́н ба́шенных часо́в, кото́рый так мно́го мне напомина́л.

Когда́ я укла́дывался спать, ко́йка Па́ши была́ пуста́. Я лёг спино́й к ней, с голово́й влез под одея́ло и всё ду́мал, что, коне́чно, девчо́нки не мо́гут быть настоя́щими людьми́... Челове́к, кото́рый бои́тся ужей, лягу́шек и угро́з ма́мы и весь день то́лько тем и занима́ется, что переодева́ет ку́клу и шьёт ей из лоскутко́в пла́тья, никогда́ не смо́жет соверши́ть настоя́щий по́двиг... А ра́зве мо́жно назва́ть челове́ком того́, кто не гото́в на по́двиг?

Но я опя́ть ви́дел желе́зную скаме́йку в городско́м па́рке и не знал бо́льше, что ду́мать.

А нау́тро к нам пришла́ сосе́дка и ста́ла, причита́я, говори́ть ма́ме про меня́, что я расту́ озорнико́м и хулига́ном и не даю́ прохо́да де́вочкам, кида́ю в лу́жи ка́мни, когда́ они́ прохо́дят во́зле воды́, ста́влю подно́жки, бросаю в во́лосы колю́чки от лопуха́... Что же бу́дет из меня́, когда́ вы́расту большо́й?

Ма́ма махну́ла руко́й, печа́льно подпёрла ладо́нью щёку и почему́-то сказа́ла, вздохну́в:

— Па́ша то́же был тако́й, а тепе́рь заявля́ется домо́й ни свет ни заря́. И сми́рный како́й-то стал — всё по хозя́йству норови́т сде́лать вперёд меня́, сло́вно дел други́х не́ту...

Сосе́дка почему́-то ве́село засмея́лась, проти́вно под-

ми́гивая и пока́зывая бе́ленькие зу́бки, а я впервы́е не знал, хорошо́ э́то и́ли пло́хо, что я похо́ж на Па́шу.

Быть мо́жет, я и прости́л бы бра́ту всё его́ преда́тельство, е́сли бы не оди́н слу́чай, кото́рый произошёл через две неде́ли.

Одна́жды в воскресе́нье Па́ша реши́л прокати́ть меня́ и Ва́лю на ка́тере, а заодно́ и порыба́чить. С ве́чера я накопа́л в консе́рвную ба́нку отме́нных кра́сных черве́й в За́ячьем овра́ге, напа́рил горо́ха и на вся́кий слу́чай да́же налови́л в кру́глую коро́бку из-под леденцо́в кузне́чиков. И вот мы спусти́лись с горы́ к небольшо́й при́стани. Ва́ля, как же́нщина, была́ завхо́зом — она́ тащи́ла клеёнчатую су́мку с прови́зией, я нёс у́дочки, а Па́ша шёл налегке́. Вот он уже́ купи́л три биле́та, и мы торже́ственно вступи́ли на ги́бкие схо́дни при́стани, как вдруг сза́ди разда́лся че́й-то негро́мкий го́лос:

— Па́вел!

Па́ша так вздро́гнул, что я про́сто удиви́лся.

Сза́ди, на невысо́кой, поро́сшей тра́вкой терра́се, стоя́ла та са́мая длиннонóгая, с большо́й косо́й. На ней уже́ бы́ло не зелёное, а бе́лое пла́тье с си́ним жуко́м вме́сто бро́шки — ду́мала, о́чень краси́во. На то́нкой, со́гнутой в ло́кте руке́ висе́ла кру́глая бе́лая су́мочка. Ту́фли то́же бы́ли бе́лые, и то́лько гла́дкие во́лосы и высо́кие бро́ви каза́лись черне́е воро́ньего крыла́. В лицо́ ей би́ло со́лнце, и она́ жму́рилась и недово́льно мо́рщила нос.

Услы́шав её го́лос, Па́ша сра́зу забы́л и про нас с Ва́лей, и про биле́ты, и про отме́нных кра́сных черве́й, нако́панных в За́ячьем овра́ге, и про ка́тер. Прижа́в к бока́м ло́кти, он бро́сился на го́рку навстре́чу ей.

Пото́м она́ что́-то говори́ла ему́ то́неньким, пискли́вым голоско́м, капри́зно выгиба́я гу́бы и разма́хивая свое́й су́мочкой, а Па́ша внима́тельно разгля́дывал носки́ начи́щенных сапо́г и всё вре́мя поправля́л широ́кий лётный реме́нь, хотя́ тот был затя́нут у него́ по уста́ву — па́льца не просу́нешь. Она́ за что́-то отчи́тывала моего́

ста́ршего бра́та, а он молча́л, сло́вно язы́к проглоти́л, и не мог ей дать никако́го отпо́ра, и э́то он, челове́к, кото́рый испы́тывал нове́йшие самолёты, кото́рый бесстра́шно вкла́дывал па́льцы в зуба́стую пасть Буя́на!

Признаю́сь, смотре́ть бы́ло проти́вно.

Набежа́л ветеро́к и донёс до меня́ обры́вок их разгово́ра.

— Зна́чит, я весь день должна́ сиде́ть одна́?

— Не серди́сь, Ни́на, давно́ обеща́л ребяти́шкам.

— Ну, зна́ешь, е́сли так...

— Посто́й, Ни́на... Сейча́с мы всё ула́дим.

— Хорошо́. Ула́живай. Я подожду́. У меня́, ме́жду про́чим, есть одно́ предложе́ние: схо́дим сего́дня...

Я не расслы́шал, куда́ она́ звала́ моего́ Па́шу, но заме́тил, что он озабо́ченно погля́дывает в на́шу сто́рону и в нереши́тельности то́пчется на ме́сте, ката́я под подо́швой сапога́ ма́ленький се́рый кругля́ш.

Что́-то жа́лкое и расте́рянное погля́дывало в его́ глаза́х, широ́кие пле́чи опусти́лись, сло́вно утра́тили всю свою́ си́лу и упру́гость. Пе́рвый раз он был не совсе́м похо́ж на вое́нного лётчика. Я гляде́л на него и ду́мал, что вот сейча́с навсегда́ реши́тся для меня́ вопро́с, мо́жно ли с э́того дня уважа́ть Па́шу, как ра́ньше, и́ли немно́го поме́ньше. Он отве́тил ей что́-то, но ве́тер стал дуть от нас и относи́л его́ слова́ в другу́ю сто́рону.

Через мину́ту Па́ша бего́м спусти́лся с отко́са к нам и, насу́пив бро́ви, сказа́л стра́шно серьёзным го́лосом:

— Пое́здка отменя́ется...

Я ничего́ не отве́тил ему́, а вы́хватил из карма́шка своего́ пиджака́ три биле́тика, разорва́л их на клочки́ и бро́сил в тёмную во́ду.

Руба́ха сра́зу прили́пла к вспоте́вшей спине́, а перед глаза́ми заплясали расплыва́ющиеся круги́. Нет, э́то бы́ло сли́шком! Хоте́лось упа́сть лицо́м в траву́ и заре́веть, но ря́дом была́ Ва́лька, и я не упа́л и не заре́вел.

Я заче́м-то дёрнул её за́ руку и, не гля́дя и не слу́шая,

что говори́л Па́ша, ре́зко поверну́лся к нему́ спино́й и бы́стро пошёл домо́й по у́зкой песча́ной доро́жке ме́жду ста́рыми разве́систыми клёнами. Па́ша что́-то крича́л мне вслед, но я не обраща́л на э́то никако́го внима́ния. Ско́ро меня́ догнала́ сестрёнка с клеёнчатой су́мкой в руке́.

— Каки́е у ней косы!—восто́рженно воскли́кнула она́.

— У-у-у... Замолчи́ ты, дура!.. Ничего́ не понима́ешь! — заора́л я и уда́рил её в плечо́ так, что она́ вы́ронила су́мку, и из су́мки вы́катились консе́рвная ба́нка с черви́, три моско́вские бу́лочки и буты́лка с лимона́дом.

Ва́лины гу́бы запры́гали, жа́лобно скриви́лись, и она́ заревёла на весь бе́рег. Я не мог ви́деть, как она́ пла́чет, и поэ́тому побежа́л по доро́жке вверх, пото́м заби́лся в глухи́е кусты́ бузины́, упа́л на мо́крую от росы́ траву́ и — то́лько вы други́м не передава́йте — заревёл.

Пото́м я заче́м-то вы́нул из бокового́ карма́на коро́бку с живы́ми кузне́чиками, поднёс её к у́ху. Кузне́чики посту́кивали си́льными за́дними но́жками в то́нкие сте́нки, копоши́лись и шурша́ли внутри́. Тогда́ я немно́го приоткры́л коро́бку и, дару́я кузне́чикам свобо́ду, одного́ за други́м стал выпуска́ть свои́х зелёных у́зников. Скачи́те куда́ глаза́ глядя́т, кузне́чики! Так и быть, живи́те... Если б вы то́лько зна́ли, что́ я сего́дня потеря́л!

Две неде́ли по́сле э́того слу́чая я не разгова́ривал с бра́том, потому́ что знал: настоя́щая дру́жба ме́жду мужчи́нами осно́вывается на твёрдых зако́нах, а е́сли и он счита́ет меня́ несча́стным ребёнком, кото́рый ничего́ не понима́ет и мо́жет то́лько из рога́тки стреля́ть, тогда́ нам бо́льше не́ о чем с ним говори́ть! От чужи́х люде́й всё мо́жно услы́шать, а вот от родно́го бра́та...

Одна́жды мы сиде́ли на пло́ской кры́ше на́шего «анга́ра» — так мы называ́ли наш дровяно́й сара́й — и починя́ли припо́лок голубя́тни. День был я́сный, со́лнечный, не́бо блестя́щее и чи́стое, как шко́льная доска́, хорошо́ вы́тертая перед уро́ками мо́крой тря́пкой.

— Ребя́та, гляди́те! — вдруг кри́кнул Се́нька Ма́рченко, сиде́вший на краю́ кры́ши, и так пода́лся всем те́лом вперёд, что едва́ не свали́лся вниз.

Мы уви́дели над го́родом серебри́стый истреби́тель. Лете́л он ка́к-то необы́чно: то́ зарыва́лся но́сом вверх, сло́вно ры́ба, кото́рой не хвата́ет во́здуха, то неуклю́же крени́лся на ле́вое крыло́, то опроки́дывался на пра́вое.

— Ло́вко лети́т, вы́сший пилота́ж! — восхищённо сверкну́л глаза́ми ры́жий Ко́ська Воробьёв.

— Дура́к! — гне́вно оборва́л его́ Се́нька. — Несча́стье с ним, ра́зве не ви́дишь?

Ко́ська сра́зу присмире́л, недове́рчиво гля́нув на Се́ньку.

Самолёт действи́тельно лете́л стра́нно: он вдруг перестáл перева́ливаться спра́ва нале́во. Он, как конту́женый, ко́со накрени́в кры́лья, мча́лся над го́родом, сверка́я на со́лнце фюзеля́жем. Маши́на стреми́тельно теря́ла высоту́, то отве́сно па́дая к земле́, то с трудо́м выра́внивая курс. Каза́лось, самолёт потеря́л управле́ние и так отяжеле́л, что не́бо не могло́ бо́льше держа́ть его́ в свое́й синеве́. Стра́нно бы́ло и то, что он держа́л путь не к аэродро́му, а на на́ши огоро́ды.

Мы следи́ли за ним и не зна́ли, что́ в таки́х слу́чаях на́до де́лать. Я почему́-то мгнове́нно вспо́мнил, как одна́жды малы́ш сорва́лся с окна́ второ́го этажа́, но случа́йно ухвати́лся одно́й руко́й за подоко́нник; взро́слые успе́ли вы́бежать вниз и, растяну́в в рука́х одея́ло, пойма́ли паренька́. А как быть здесь? Парашю́т? Не помо́жет — сли́шком ни́зко. Ме́жду тем свистя́щий гул самолёта то нараста́л, то замира́л.

«Ну дава́й ещё немно́жко, дотяни́ до аэродро́ма, дожми́, ми́лый!» — шепта́л я про себя́, и се́рдце колоти́лось так гу́лко, сло́вно ря́дом находи́лась ку́зня.

Что случи́лось да́льше — бы́ло как стра́шный сон. Никогда́ не забу́ду я э́того. Самолёт вре́зался в огоро́д. Чёрный столб ды́ма и огня́ сме́рчем взлете́л в не́бо. Зем-

ля́ вздро́гнула от гро́хота. От возду́шной волны́ ни́зко полегли́ ку́стики карто́феля. Се́нька закрича́л и стал бе́лый как мел. Ко́ська засты́л с откры́тым ртом и вы́таращенными в у́жасе глаза́ми. А я... Да я и не по́мню, что бы́ло тогда́ со мной...

Когда́ дым немно́го рассе́ялся, мы уви́дели, как ого́нь жа́дно пля́шет на измя́тых, обу́гленных обло́мках маши́ны. Остро запа́хло горя́щей рези́ной и кра́ской. Се́нька схвати́лся рука́ми за лицо́ и запла́кал. А я смотре́л на всё э́то сухи́ми глаза́ми. Смотре́л и не мог отвести́ взгля́да. Внутри́ бы́ло пу́сто и хо́лодно.

Так мы втроём сиде́ли на кры́ше сара́я и не могли́ сдви́нуться с ме́ста.

Не успе́ли мы прийти́ в себя́, как с аэродро́ма примча́лась бе́лая санита́рная маши́на с кра́сным крестом на боку́, а за ней пожа́рная. Лю́ди поспе́шно разброса́ли же́рди и́згороди и замета́лись во́зле грома́дного чадя́щего костра́. Си́льными брандспо́йтами потуши́ли ого́нь. В санита́рную маши́ну внесли́ что́-то дли́нное и стра́шное, завёрнутое в зелёный брезе́нт. Останови́вшимися глаза́ми провожа́ли мы э́ту маши́ну, кото́рая с захлёбывающимся кри́ком помча́лась по со́лнечным у́лицам на́шего городка́.

— Поги́б... — ти́хо сказа́л Се́ня.

Я ничего́ не отве́тил ему́. На душе́ ста́ло так тяжело́, что я не мог да́же пошевели́ть языко́м. Я никогда́ ещё не ви́дел, как умира́ют лю́ди, и вот сейча́с уви́дел. То́лько тепе́рь, то́лько тепе́рь я поду́мал, кака́я опа́сная и тру́дная рабо́та у Па́ши, и сра́зу прости́л ему́ все свои́ глу́пые оби́ды. И вдруг в мою́ ду́шу лего́нько закра́лось сомне́ние: а е́сли и со мной случи́тся тако́е? Мо́жет, вы́брать себе́ бо́лее надёжное де́ло? И тут же, презира́я себя́ за по́длую тру́сость, я пло́тно сти́снул зу́бы.

Нет, я бу́ду лётчиком. Лётчиком! И то́лько лётчиком!

Когда́ маши́ны уе́хали и шум их за́мер вдали́ и на городо́к опусти́лась непривы́чная тишина́, мы мо́лча слезли с кры́ши.

Я не мог смотре́ть на огоро́д с помя́тыми ку́стиками карто́феля, на следы́ маши́н, глубоко́ вре́занные в мя́гкую зе́млю двора́.

Я ушёл в друго́й коне́ц городка́ и до́лго броди́л по ти́хим, заро́сшим трава́ой у́лочкам.

Когда́ я верну́лся домо́й, в столово́й сиде́л знако́мый лётчик, майо́р дя́дя Са́ша, высо́кий, худоща́вый, с седы́ми виска́ми и дочерна́ загоре́вшим лицо́м, кре́пкий и ло́вкий, как и все настоя́щие лётчики, а ря́дом сиде́ла ма́ма и, подпере́в го́лову рука́ми, неподви́жно смотре́ла в пол.

— Здра́вствуйте, — сказа́л я.

— Здра́вствуйте, — отве́тил дя́дя Са́ша о́чень ти́хо.

Го́лос у него́ всегда́ был гро́мкий, отры́вистый, сло́вно ря́дом реве́ли мото́ры самолётов и он, заглуша́я их, отдава́л кома́нду. Но сего́дня он говори́л ти́хо.

Дя́дя Са́ша сиде́л ка́к-то неудо́бно, на са́мом ко́нчике табуре́тки, сло́вно никогда́ не был у нас и все мы незнако́мые ему́. А на са́мом де́ле он часте́нько заха́живал к нам, брал у Па́ши кни́ги почита́ть и люби́л вы́пить ста́нчик ча́ю с души́стым мали́новым варе́ньем.

— Вот как... — сказа́л он и помаха́л перед лицо́м фура́жкой, как бу́дто в ко́мнате бы́ло ду́шно.

В до́ме ста́ло так ти́хо, что я услы́шал, как заше́дшие на крыле́чко ку́ры клю́вами ту́кают по́ полу, склёвывая хле́бные кро́шки и крупи́нки пшена́, застря́вшие в щеля́х между доска́ми. У ма́мы вздро́гнули пле́чи, и вдруг я почу́вствовал, как что́-то холо́дное пробежа́ло по жи́лам.

— Па́-ша? — спроси́л я, впива́ясь в опу́щенные глаза́ дя́ди Са́ши.

— Па́ша... — прошепта́л лётчик, но э́тот шёпот оглуши́л меня́.

Я вы́бежал во двор, чтоб не слы́шать того́, что ска́жет он да́льше. Мне каза́лось, что то стра́шное сло́во, кото́рое он не договори́л, ничего́ не бу́дет зна́чить, е́сли я не услы́шу его́.

— Па́шенька, прости́, — шепта́л я, заби́вшись в тём-

ный у́гол сара́я, где бы́ло сва́лено се́но для козы́. — Как же э́то так? Ведь мы ещё не съе́здили с тобо́й за окуня́ми... Хорошо́, не сиди́ со мной по вечера́м на ла́вочке, не на́до! Но как же так мо́жно?

Нам показа́ли то́лько закры́тый гроб.

Я стоя́л и смотре́л на кра́сную кры́шку. А за кры́шкой был он, кем так горди́лся я, кому́ так зави́довал. «Зна́чит, настоя́щий мужчи́на до́лжен иногда́ занима́ться таки́м де́лом, что пото́м его́ нельзя́ показа́ть да́же родно́й ма́тери и родно́му бра́ту», — поду́мал я, и что́-то внутри́ меня́ сдви́нулось, и я весь вздро́гнул, сло́вно се́рдце вста́ло на друго́е ме́сто. И тогда́, лишь тогда́ впервы́е по́нял я, что тако́е долг и что чу́вства сильне́е его́, мо́жет, и нет на земле́!

Никогда́ не забу́ду э́ти дни: и глаза́ ма́тери, и вое́нный орке́стр, и сыру́ю бу́рую зе́млю, вы́брошенную отту́да, куда́ должны́ его́ опусти́ть, и проща́льный залп во́инского салю́та.

Говори́ли над гро́бом кра́тко. Но и из э́тих кра́тких, скупы́х слов его́ това́рищей я впервы́е узна́л, как мно́го но́вых самолётов испыта́л лейтена́нт Па́вел Ива́нович Его́рцев, и они́ пока́жут себя́ в бою́, э́ти самолёты, е́сли враги́ посме́ют су́нуться на на́шу зе́млю. А что разби́лся... что ж... Это, к сожале́нию, ещё случа́ется в жи́зни пило́тов. Чка́лов, вели́кий лётчик, — и тот разби́лся.

А та де́вушка, кото́рую я ви́дел в городско́м па́рке и на при́стани, была́ о́чень бледна́ и всё вре́мя молча́ла, и я стара́лся не смотре́ть на неё. И мне нра́вилось одно́: что она́ не пла́чет. Но, когда́ гроб на верёвках опусти́ли в я́му, и о кры́шку уда́рила пе́рвая горсть земли́, и мо́крые комо́чки покати́лись врассыпну́ю по кра́сной матёрии, она́ вдруг упа́ла на край моги́лы. Все бро́сились её поднима́ть, а я стоя́л ря́дом и смотре́л вниз на горсть земли́, рассы́панной на кры́шке. Смотре́л — и ничего́ не понима́л.

А когда́ мы шли домо́й и Па́шины това́рищи подде́рживали по́д руку ма́му, кото́рая спотыка́лась на ка́ждом бугорке́, уда́рили часы́ на ба́шне. Я смотре́л на чёрный расплыва́ющийся цифербла́т, и часы́ сло́вно напомина́ли мне: «Вот так, брато́к, лети́т вре́мя и жизнь...»

Уже́ год, как не ста́ло бра́та. Скоре́е бы вы́расти и пойти́ в лётное учи́лище — э́тим я жил в те тру́дные дни. Но о́сенью на медосмо́тре наш шко́льный врач, лы́сый старичо́к в пенсне́, вы́слушал мою́ грудь холо́дной чёрной тру́бкой и сказа́л, покача́в голово́й, что у меня́ нева́жное се́рдце. «Зна́чит, проща́й авиа́ция!» — бо́льно уда́рило в виски́, и я с не́навистью посмотре́л на врача́ и чуть не запла́кал от оби́ды и беспо́мощности.

Я сбежа́л с после́дних уро́ков и до́лго броди́л по бе́регу реки́. Стоя́ла о́сень, и вода́ была́ му́тная и холо́дная. Вниз по тече́нию проплыва́ли одино́кие жёлтые ли́стья и брёвна, вы́рвавшиеся из плото́в.

Я не знал, что де́лать. Ле́гче бы́ло бро́ситься в во́ду, чем примири́ться с тем, что я никогда́ не влезу́ в каби́ну самолёта и не взлечу́ в не́бо. «Мужчи́на без кре́пкого се́рдца — ничто́жество, — ду́мал я. — Неуже́ли э́тот подслепова́тый ры́жий старика́шка в бе́лом што́паном хала́те, пропа́хший йо́дом и спи́ртом, сказа́л пра́вду?» И вдруг я по́нял, что, хотя́ я и живу́ и дышу́, — нет бо́льше меня́ на земле́: то, о чём мечта́л, не сбу́дется. А како́й же э́то челове́к, кто не зна́ет, для чего́ он роди́лся?

Как сейча́с по́мню — всё не́бо бы́ло заби́то тёмными дождевы́ми облака́ми, и косы́е дли́нные лучи́ сентя́брьского со́лнца лишь на мгнове́ния пробива́лись сквозь них и ту́скло поблёскивали на стекля́нных кры́шах цехо́в авиацио́нного заво́да. А я шёл и шёл, сам не зна́я куда́. Мне бы́ло всё равно́ — куда́.

И вдруг я на что́-то наткну́лся гру́дью. Это была́ кладби́щенская чугу́нная огра́да, и я уви́дел ко́со приби́тый к шесту́ си́ний деревя́нный пропе́ллер, под кото́рым лежа́л Па́ша. И тогда́ я захоте́л пожа́ловаться ста́ршему бра́ту

на свою́ го́рькую у́часть. «Зна́ешь, Па́ша, а я забрако́ван... Что же мне тепе́рь де́лать? Как быть? И заче́м то́лько я роди́лся тако́й...»

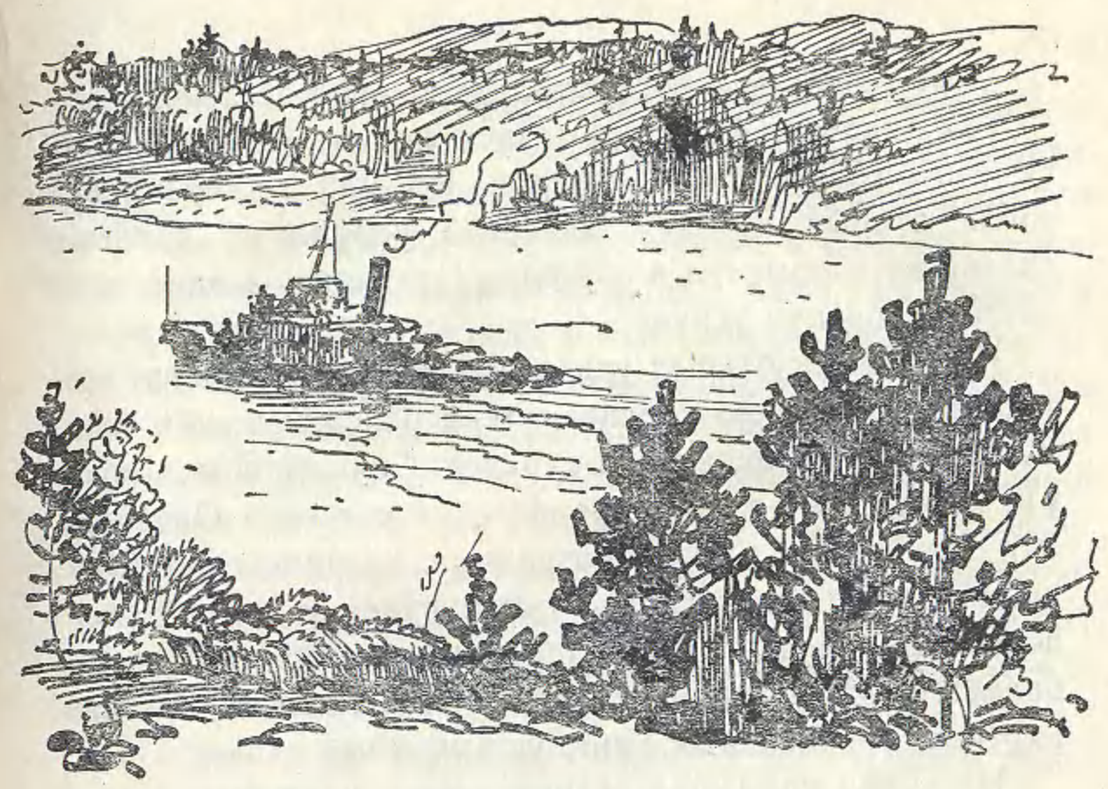
Я стоя́л и смотре́л на ры́жую траву́ на ма́леньком хо́лмике.

Бы́ло о́чень ти́хо. Ржа́вые дубо́вые ли́стья отрыва́лись от чёрных ветве́й, ме́дленно кружи́лись в споко́йном, прозра́чном во́здухе и осторо́жно каса́лись земли́, сло́вно боя́лись кого́-то разбуди́ть. Ста́рые ве́рбы, опусти́в вниз ве́тви, молчали́во сты́ли в сторо́нке и ничего́ не могли́ отве́тить. Бы́ло ти́хо. Очень ти́хо. Никогда́ я не знал, что на земле́ мо́жет быть так ти́хо. И то́лько во мне что́-то стуча́ло так гро́мко, сло́вно навстре́чу с гро́хотом шёл тяжелове́сный по́езд, приближа́ясь с ка́ждой секу́ндой...

Лёгким поры́вом ве́тра отнесло́ облака́, и я́ркое тёплое со́лнце освети́ло мне лицо́, и вдруг вся моя́ жизнь в одно́ мгнове́ние пронесла́сь передо мно́й, и мне показа́лось, что я за́ново роди́лся, роди́лся во второ́й раз.

С не́ба па́дали пото́ки све́та, а я стоя́л внизу́, на земле́, я твёрдо стоя́л на земле́, ощуща́я её подо́швами боти́нок и всем свои́м те́лом, я стоя́л на э́той суро́вой земле́, и мои́ па́льцы са́ми сти́снулись в кулаки́, а на се́рдце вдруг ста́ло так хо́лодно и вме́сте с тем так легко́, и оно́ сжа́лось непоня́тной бо́лью и ра́достью.

Кем бы я ни́ был, я не посрамлю́ тебя́. Я бу́ду челове́ком... Даю́ тебе́ сло́во, Па́ша!



ЗЕМЛЯ, ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ

— Мам, я гото́в! — кри́кнул Алик.

В ва́нную ко́мнату вошла́ ма́ма с цветны́м полоте́нцем и, пересчи́тывая па́льцами рёбра и позвонки́, ста́ла на́сухо вытира́ть сы́на. Полоте́нце бы́ло огро́мное, пля́жное, ку́пленное перед пое́здкой в Га́гру, и его́ бы хвати́ло, чтоб вы́тереть де́сять Аликов. Ма́льчик весь утону́л в нём, и то́лько голова́ со взъеро́шенными, как у ежа́, волоса́ми выгля́дывала нару́жу. Он поко́рно воро́чался в си́льных рука́х ма́мы, рассма́тривая в моло́чно-бе́лых ка́фельных[1] сте́нах своё отраже́ние.

Наконе́ц, когда́ Алик был основа́тельно, до жже́ния в ко́же, вы́терт, ма́ма разреши́ла ему́ поки́нуть ва́нну, из кото́рой уже́ давно́ сошла́ вода́.

— Не станови́сь на́ пол, он холо́дный.

По́д ноги Алика подъе́хала фане́рка.

---

[1] Ка́фельный — из ка́феля. Ка́фель — то́нкая пли́тка из обожжённой гли́ны, покры́тая с лицево́й стороны́ глазу́рью.

— А тепе́рь — в посте́ль. За́втра ра́но встава́ть.

Поёживаясь, Алик промча́лся по янта́рному парке́ту — его́ то́лько вчера́ натёрли. На миг останови́лся у роя́ля, откры́л кры́шку, пятернёй уда́рил по басо́вым кла́вишам и пры́гнул в посте́ль. Зары́вшись в одея́ло, он почти́ мгнове́нно усну́л.

Когда́ Алик откры́л глаза́, на стене́ шевели́лись причу́дливые, ска́зочно краси́вые те́ни ра́йских птиц с пы́шными хвоста́ми, испа́нских каравéлл[1] с наду́тыми паруса́ми, коко́совых пальм с тропи́ческих острово́в Океа́нии... Эти те́ни, невесо́мые и прозра́чные, каза́лись продолже́нием сна, но Алик си́льно встряхну́лся и оконча́тельно по́нял, что никако́го чу́да здесь нет, про́сто со́лнце пробива́ется сквозь узо́рные занаве́ски, рожда́я в его́ голове́ карти́ны прочи́танных книг, услы́шанных ска́зок.

Из ку́хни наплыва́л о́стрый за́пах жа́реного лу́ка и доноси́лся недово́льный ма́мин го́лос:

— Я же, ка́жется, проси́ла тебя́, Гла́ша, купи́ть ку́рицу помоло́же. Опя́ть мя́со бу́дет тако́е жёсткое, что Алик отка́жется есть.

«Коне́чно, откажу́сь, — поду́мал Алик, — о́чень ну́жно разрыва́ть зуба́ми жи́лы и пото́м полчаса́ жева́ть их, как ла́стик. Жуёшь, жуёшь, че́люсти уста́нут, а вку́са никако́го».

— Я проси́ла помоло́же, — опра́вдывалась ня́ня. — Отку́ль же я зна́ю... Вот тепе́рича...

— Сама́-то ведь дереве́нская, должна́ разбира́ться... Всё учи́ть тебя́ на́до.

Алику ста́ло жаль ня́ню, и он уже́ был гото́в есть ста́рую ку́рицу, то́лько б ма́ма отста́ла от Гла́ши. Внача́ле, когда́ Алик ещё не ходи́л в шко́лу и полжи́зни его́ занима́ла э́та ху́денькая расторо́пная[2] девчо́нка с жи́дкими

[1] Каравéлл; каравéлла — четырёхма́чтовое па́русное су́дно с треуго́льными паруса́ми (в сре́дние века́ в Ита́лии, Испа́нии, Португа́лии).

[2] Расторо́пная — о́чень подвижна́я, прово́рная в де́ле.

коси́чками, уже́ не дереве́нская и ещё не городска́я, и учи́ла его́ по ли́стьям и коре́ отлича́ть оси́ну от ольхи́, кедр от сосны́, по пе́нию узнава́ть сини́цу и снегиря́, он перенима́л и её слове́чки — «тепе́рича» и «отку́ль», и ма́ма ка́к-то раз отчита́ла её на ку́хне: раз Гла́ша живёт в городско́й интеллиге́нтной семье́, она́ должна́ вы́бросить из головы́ э́ти гру́бые таёжные слова́. И вся́кий раз, когда́ Алик неча́янно употребля́л их в разгово́ре, ма́ма серди́лась и заставля́ла повторя́ть пра́вильно, а Гла́ша красне́ла при э́том как свёкла. Но сейча́с Алик уже́ бе́гал в тре́тий класс и научи́лся говори́ть вполне́ гра́мотно, а вот Гла́ша до сих по́р ника́к не могла́ отвы́кнуть: сто́ит ей заволнова́ться, и опя́ть с языка́ слета́ют «отку́ль» и «тепе́рича».

— Вы Алика по́дняли? — донёсся из гости́ной го́лос па́пы. — Через час подъе́дет такси́.

Послы́шались торопли́вые шаги́, и Алик притвори́лся спя́щим. Гла́ша ста́ла дёргать одея́ло, тормоши́ть, но ма́льчик всхра́пывал и ничего́ не слы́шал. И, то́лько когда́ шерша́вые, как нажда́к, от чи́стки карто́шки и сти́рки Гла́шины па́льцы легко́ косну́лись его́ пя́ток, Алик ди́ко взви́згнул, захохота́л и заби́л нога́ми. Ох, как не хоте́лось расстава́ться с тёплым одея́лом, с дремо́тными силуэ́тами каравéлл и коко́совыми па́льмами на стене́! Но Гла́ша была́ насто́йчива, и он с её по́мощью кое-ка́к оде́лся.

В пере́дней уже́ стоя́л перевя́занный ремнём чемода́н. Второ́й сро́чно упако́вывался. Кро́ме того́, ма́ма, вздыха́я и укра́дкой вытира́я мо́крые глаза́, спе́шно укла́дывала в большу́ю ко́жаную су́мку жа́реную ку́рицу в прома́сленной бума́ге, пирожки́, пластма́ссовую коро́бку с ма́слом, буты́лочку с ани́совыми ка́плями от комаро́в и мо́шки, чёрную икру́ (к ней Алик всегда́ боя́лся притро́нуться: а вдруг из неё возьму́т и вы́ведутся лягу́шки?), коро́бку с доро́жным са́харом, конфе́ты. Па́па Алика, ви́дный инжене́р-гидро́лог, уезжа́л на два ме́сяца в командиро́вку

на строительство огромной гидроэлектростанции на Ангаре. С собой он решил захватить и Алика, потому что рядом со стройкой находилась деревня, родом из которой была жена, и в семье решили, что неплохо будет сыну отдохнуть у дедушки с бабушкой.

Быстро позавтракав, мальчик подошёл к роялю, огромному и чёрному, как кит. Когда открывалась крышка, рояль ещё больше походил на кита: клавиши напоминали белые зубы — есть ли у кита зубы, Алик не знал, — торчащие из открытой пасти. Частенько Алик не приготавливал урока, и учительница музыки Аида Францевна, шелестя нотами, строго смотрела на него сквозь пенсне. Тогда мальчику казалось, что он падает в пасть кита и тот сейчас перетрёт его своими зубами-клавишами и уплывёт куда-нибудь далеко в океан.

Может быть, поэтому с роялем он расставался без всякого сожаления. Жаль только книг, особенно из библиотечки приключений, блестевших серебром корешков. Алик хотел было взять недочитанного «Следопыта», но папа сказал, что и так вещей набрали столько — пароход может утонуть, в деревне будет не до чтения, а если и захочется почитать, он со стройки принесёт...

Под окнами резко просигналило такси, и папа одной рукой схватил чемодан, другой — Алика и бросился по лестнице вниз. За ним торопилась мама с кожаной сумкой и, задыхаясь, давала сыну последние наставления: не бегать босиком, не купаться в Ангаре, не пить сырое молоко, ложиться не позже десяти и ещё многое другое... Сзади тащила на плече второй чемодан Глаша.

— Прощай, мамочка, прощай! — крикнул мальчик, наконец оторвавшись от матери и удобно усевшись на мягком сиденье рядом с шофёром, возле циферблатов и кнопок. Хлопнула дверца, машина взревела и, как леопард, прижимаясь к земле, длинными упругими скачками помчалась к порту.

Через два дня в маленьком сибирском городке они

пересели с колёсного парохода на автобус, и не прошло и часа, как Алик с папой выгрузились в небольшой деревушке с тесовыми крышами и заплотами — высокими дощатыми оградами, как их принято делать в Сибири.

Всё вокруг было непривычно. В оба конца деревни уходили тёмные, сложенные из толстых брёвен избы, с причудливыми наличниками и резными ставнями. В одной избе между окнами на вате лежали кедровые шишки, во второй — ёлочные украшения: стеклянные звёзды, рыбки, зверьки... Из этих окон на Алика загадочно смотрел таинственный, неведомый ему мир.

— Ну, вот мы и пришли, — сказал папа и двинулся к невысокому дому с ситцевыми занавесками на окнах и антенной: точно малярная кисть стоял на крыше шест с проволочной щёточкой.

Опустив на траву чемоданы, папа дёрнул кольцо калитки.

Во дворе злобно залаяла собака, раздались неторопливые шаги. Внутри у Алика всё напряглось: кто выйдет сейчас к ним? Ведь он ни разу не видел ни дедушки, ни бабушки.

В калитке появился огромный худощавый дед в сатиновой косоворотке, без пояса, с усами и косматой бородой. У него были подвижные острые глазки, большие желтоватые уши. В руках он держал топор. Алик ошеломлённо уставился на деда, не зная, что делать дальше: поздороваться? улыбнуться? броситься целовать?..

Нет, пожалуй, поцеловать его он бы не смог: уж слишком дед был высокий, бородатый и не походил решительно ни на кого из папиных родственников, приезжавших к ним, с которыми Алик весьма охотно и запросто целовался.

Таких дедов Алик встречал на иркутском рынке, куда иногда брала его Глаша. Называла она их нехорошим словом «мужики». «Гляди, какой здоровый хариус [1] вон

[1] Хариус — рыба северных рек.

у того́ мужика́», — говори́ла она́, и́ли: «Ну его́, э́того мужика́ с говя́диной, одни́ ко́сти у него́, а нам нужна́ мя́коть на котле́ты...» И у Алика сложи́лось стра́нное впечатле́ние о них: э́ти «мужики́» каза́лись жи́телями како́й-то друго́й страны́, кото́рых не пуска́ют жить в го́род и кото́рые живу́т там, где конча́ются городски́е кварта́лы и начина́ется тайга́, поля́ и со́пки...

И вот сейча́с дед, о́чень похо́жий на ры́ночных мужико́в, стоя́л в кали́тке и не выпуска́л из рук топора́.

— Что, оте́ц, родню́ не узнаёшь? — сказа́л па́па. — От Анки покло́н.

— Ванюшка, ника́к? — Дед ка́к-то стра́нно моргну́л и опусти́л топо́р на зе́млю.

— Он са́мый, — сказа́л па́па, подходя́ к де́ду.

Огро́мный и широкопле́чий, дед на две головы́ возвыша́лся над ним. Его́ ручи́щи, дли́нные, жи́листые, очути́лись у па́пы на плеча́х, и он кре́пко поцелова́л его́ три ра́за.

— А э́то кто там ещё? — спроси́л дед, све́рху осма́тривая ма́льчика.

— Сын... Ну, не пря́чься за па́пу, иди́ поздоро́вайся с де́душкой.

Алик вы́шел из-за па́пы, гля́дя в траву́.

— Како́й ма́хонький ещё! — удиви́лся дед.

— Подрастёт. Не сра́зу Москва́ стро́илась.

— Зва́ть-то как?

— Алик, — бу́ркнул ма́льчик, гля́дя куда́-то в сто́рону.

— Как, как? — не расслы́шал дед.

— Аликом его́ зову́т, — гро́мко произнёс па́па.

Дед усмехну́лся:

— Не слы́хивал я что́-то таки́х имён. Ве́рно, пре́жде чем дать, ду́мали до́лго. В на́ши-то го́ды бы́ло про́ще: как народи́лся мужчи́на — быть ему́ Ива́ном а́ли Игна́тием, ну Иннокéнтии, само́ собо́й, бы́ли в уваже́нии. А тепе́рича чего́ то́лько не наприду́мают... Ла́дно уж...

— Алекса́ндром его́ зову́т, — сказа́л па́па, чуть сму́тившись, — а мы его́ по-сво́ему, по-дома́шнему...

— Са́нька, по-на́шему, зна́чит.

У Алика что́-то застря́ло в го́рле. Лишь сейча́с по́нял он со всей определённостью, что э́тот дед совсе́м не родно́й ему́. Его́ слегка́ покоро́били и вы́горевшая косоворо́тка без по́яса, и э́ти таёжные «тепе́рича» и «а́ли», и ком наво́за, прили́пшего к его́ сапогу́, и то, что де́ду не понра́вилось его́ краси́вое, зву́чное и́мя Алик. А когда́ дед, вдоба́вок ко всему́, оглуши́тельно вы́сморкался в траву́, ма́льчику про́сто ста́ло не по себе́.

Соба́ка, встре́тившая их ла́ем, умо́лкла и, игра́я о́стрыми уша́ми, подошла́ к Алику, обню́хивая его́ вла́жным но́сом.

— Да что ж э́то я вас, как не́людей, перед воро́тами держу́! — спохвати́лся дед, одно́й руко́й ухвати́л за ру́чки два тяжеле́нных чемода́на, по́днял их и шагну́л во двор. — Ми́лости прошу́...

И почти́ то́тчас из сене́й вы́скочила ба́бка, ма́ленькая, су́хонькая, до бро́вей повя́занная тёмным платко́м. Она́ налете́ла на Алика, прижа́ла, и он запу́тался в сбо́рках её дли́нной ю́бки, в скла́дках её домотка́ной ко́фты. Ну коне́чно, э́то ба́бушка: ста́ла бы друга́я так ти́скать и целова́ть его́!

Пережи́в пе́рвый прили́в ра́дости, ба́бка отодви́нулась от него́ и покача́ла голово́й, жа́лостливо озира́я хру́пкую фигу́рку вну́ка, оде́того в наря́дный вельве́товый костю́мчик с ля́мочками крест-на́крест и накры́того све́рху пёстрой тюбете́йкой с ки́сточкой.

— Како́й мане́сенький, — вздохну́ла она́, — одни́ рёбрышки и ко́жица, лёгкий, как петушо́к. Встреть я тако́го где, ни за что не сказа́ла бы, что наш. А ведь-таки наш! — проговори́ла ба́бка.

— Наш, — утверди́тельно кивну́л дед, — на ли́чность вро́де в Ванюшку, а глаза́ на́ши, стрельцо́вские: си́ние, ухва́тистые глаза́. То́лько ро́бок уж о́чень, заби́т...

— Ну вот, в дере́вне поживёт тепе́рича... — продолжа́ла ба́бка. — Вы уж нас извиня́йте, чем бога́ты, тем и ра́ды, — не го́род у нас тут, одна́ко. Не взыщи́те, е́сли что...

— Да что́ вы, что́ вы! — заговори́л па́па с улы́бкой. — У вас тут так замеча́тельно, про́сто рай...

«Ну заче́м говори́ть непра́вду?» — поду́мал Алик. Не совсе́м уж тут рай. И как он проживёт здесь два ме́сяца среди́ кур и лебеды́? Он, призна́ться, и от ба́бки был не в восто́рге. Никто́ ещё не ре́зал ему́ в глаза́, что он тако́й ма́ленький и ху́денький, как петушо́к. Хорошо́ встре́тили госте́й, хорошо́, ничего́ не ска́жешь! Нет, па́пины ро́дственники лу́чше, без гости́нца не прие́дут: то заводно́й танк привезу́т — мчи́тся и и́скры из пу́шки летя́т; то коро́бку шокола́дных конфе́т — са́ми во рту та́ют; то поте́шную фигу́рку то́лстенького пингви́на — их в Антаркти́де, как у нас воробьёв. И при э́том ли́ца па́пиных ро́дственников так и луча́тся улы́бками, и все они́ в оди́н го́лос говоря́т, что Алик тако́й хоро́шенький, тако́й развито́й и ми́лый ма́льчик... А здесь... Здесь всё не так.

Заби́ться бы куда́-нибудь в уголо́к и тихо́нько попла́кать, но куда́ тут забьёшься, е́сли вокру́г хо́дят стра́шные шипу́чие гу́си и в ка́ждую дыру́ суёт свой мо́крый нос соба́ка. С внеза́пной не́жностью вспо́мнил Алик о роя́ле, кото́рому тепе́рь це́лых два ме́сяца суждено́ безмо́лвно стоя́ть в гости́ной и ждать его́ прие́зда, и Гла́ша раз в день бу́дет вытира́ть его́ сухо́й тря́почкой, сухо́й — чтоб лак не попо́ртился. И совсе́м уже́ не стра́шно бы́ло попа́сть в зу́бы э́тому чёрному доброду́шному киту́.

— Как там Анна Петро́вна пожива́ет? — спроси́л дед, когда́ они́ вошли́ в избу́.

— Спаси́бо, — сказа́л па́па, — хорошо́.

— Поди́, скуча́ет по родны́м места́м.

«Что она́, ду́ра, что ли, скуча́ть по тако́й дыре́!» — поду́мал Алик.

— Коне́чно, оте́ц, стра́шно как скуча́ет, — отве́тил па́па.

«Ну заче́м он опя́ть говори́т непра́вду?» Ведь ни ра́зу, ско́лько по́мнит себя́ Алик, не вспо́мнила ма́ма, не заскуча́ла по э́той дереве́ньке.

В избе́ их встре́тила ещё кака́я-то же́нщина, с заплетёнными на голове́ ко́сами, молода́я, полногру́дая, — На́дя, как называ́л её дед. У неё бы́ло за́спанное лицо́ — ве́рно, то́лько что вста́ла. В избе́ по́сле у́лицы каза́лось су́мрачно, и Алик, споткну́вшись о табуре́т, чуть не упа́л. Но, когда́ глаза́ его́ осво́ились, он уви́дел бреве́нчатые сте́ны — ни ра́зу в жи́зни не был он в дереве́нской избе́, — ру́бленый стол, ла́вки, самоде́льный буфе́т. У окна́ на по́лочке стоя́л небольшо́й батаре́йный приёмник, а в углу́, как во́лчий глаз, насторожённо тлел како́й-то огонёк, освеща́я то́щее, вы́тянутое лицо́ незнако́мого челове́ка в позоло́ченной ра́мке. Но ни э́тот стра́нный портре́т, ни приёмник, ни ослепи́тельно бе́лые поду́шки и занаве́ски не де́лали избу́ краси́вой и весёлой.

Про́сто тру́дно бы́ло предста́вить, как мо́жно жить в тако́м неуютном помеще́нии, где вме́сто обо́ев и ковро́в — жёсткие брёвна, вме́сто парке́та — сто́птанные с широ́кими щеля́ми полови́цы и вме́сто бе́лого потолка́ с лепны́ми украше́ниями — чёрные ба́лки. А что уж и говори́ть про ва́нную! Дворцо́м показа́лась Алику их иркутская кварти́ра по сравне́нию с э́той хиба́рой! [1]

Он сел на табуре́т, вобра́в го́лову в пле́чи, и, сложи́в на коле́нях ру́ки, размышля́л, что ждёт его́ да́льше.

Внеза́пно за перегоро́дкой разда́лся де́тский плач. На́дя, разгова́ривавшая с па́пой, бро́силась в другу́ю полови́ну избы́.

— Пра́внук, — сказа́л дед не без го́рдости. — Иннокéнтий. То́же, как весь наш род, синегла́зый... — и, ви́дя, что Алик ка́к-то стра́нно улыбну́лся, доба́вил: — А ты иди́-ка, глянь на свою́ родню́, иди́, не пужа́йся.

[1] Хиба́ра — небольшо́й, о́чень бе́дный до́мик, избёнка, лачу́га.

Алик вы́шел за перегоро́дку. В лёгком полукру́глом я́щичке, похо́жем на ло́дку, на верёвках, привя́занных к потоло́чной ба́лке, лежа́л младе́нец. Он зашёлся от кри́ка. На́дя одно́й руко́й укрыва́ла его́ но́жки, а друго́й пла́вно кача́ла я́щичек и что́-то пригова́ривала. Ско́ро Иноке́нтий переста́л ора́ть. Из его́ не по лицу́ огро́мных си́них глаз ещё кати́лись слёзы.

— Хоро́ш па́рень, одна́ко? — спроси́л дед, погля́дывая на младе́нца.

— Хоро́ш, — отве́тил Алик и глотну́л.

Ему́ бы́ло стра́нно и ка́к-то не по себе́ оттого́, что вот э́тот замо́рзанный младе́нец — его́ родня́ и он до́лжен с почте́нием относи́ться к нему́. И Алик для прили́чия изо всех сил стара́лся улыба́ться.

— Как народи́лась твоя́ ма́мка, Ню́шка, зна́чит, — сказа́л дед, стоя́вший за спино́й, — я и сколоти́л э́ту вот лю́льку. С того́ вре́мени пусто́й не остаётся...

Сло́во «ма́мка» резну́ло у́хо ма́льчика — за него́ ма́ма, наве́рно, не погла́дила бы его́ по голо́вке. Не понра́вилось и то, что дед гру́бо назва́л ма́му Ню́шкой, и уж Алик совсе́м пораз́ился, узна́в, что в э́той лю́льке, как выража́лся дед, в э́том, по су́ти де́ла, коры́те, кача́ли когда́-то его́ ма́му. Ника́к не мог он предста́вить свою́ краси́вую и наря́дную ма́му в э́той избе́, пропа́хшей смоло́й и берёзовыми ве́никами, свою́ ма́му, лежа́щую в э́той лю́льке.

— А по́сле Ню́шки Афо́ньку колыха́ли в ней, — сказа́л дед, обраща́ясь к па́пе. — Ты по́мнишь его́? На ва́шу сва́дьбу прилета́л.

— Как же, — отве́тил па́па, — тако́го па́рня да не по́мнить! Уже́, наве́рно, «ИЛ» во́дит.

— Да нет уж, тепе́рича Афо́ньку посади́ли на реа... как его́ там... реу...

— Реакти́вный, — подсказа́л Алик.

— Угада́л, вну́чек, реакти́вный, сто четы́ре...

— Мо́жет, ТУ-104? — спроси́л Алик.

— В то́чку попа́л. Так он и называ́л. На Сахали́н лета́л на нём, вот как.

Нет, э́то про́сто не вмеща́лось у Алика в голове́. Он, коне́чно, знал от ма́мы, что у неё есть брат лётчик, и да́же хва́стался ребя́там, что дя́дя Афана́сий обеща́л прокати́ть его́ на сверхзвуково́й ско́рости. Но дед говори́л что́-то несура́зное. Ну хорошо́, ма́ма, пожа́луй, ещё могла́ кача́ться в э́той лю́льке — как-ника́к девчо́нка, — но как мог лежа́ть в ней лётчик лу́чшего в ми́ре реакти́вного пассажи́рского корабля́?!

Алик не раз ви́дел, как огро́мный, серебри́стый, с отки́нутыми наза́д кры́льями самолёт пролета́л над го́родом и сади́лся в аэропорту́, а пото́м подыма́лся и с лёгким сви́стом уноси́лся в Кита́й.

Ви́дно, дед хоте́л продо́лжить расска́з о сыновья́х и дочеря́х, вы́шедших из э́той лю́льки, но па́па вдруг посмотре́л на ручны́е часы́ и заторопи́лся, сказа́в, что, е́сли опозда́ет, мо́жет не заста́ть нача́льство стро́йки.

— Иди́, — разреши́л дед, — то́лько верта́йся ши́бче. У нас тут то́же есть строи́тели... Са́нька вот шофёрит, вернётся вско́рости, отме́тим прие́зд... Как-ника́к не ка́ждый день загля́дываешь в на́шу темноту́ да глушь.

— А я? — испу́ганно воскли́кнул Алик, когда́ па́па откры́л дверь.

— А ты остава́йся. К ве́черу бу́ду.

Ма́льчик сле́дом за па́пой вы́шел во двор. Ему́ о́чень не хоте́лось остава́ться в э́той избе́, хотя́ в ней когда́-то и вы́рос лётчик «ТУ-104».

— То́лько поскоре́е, — захны́кал Алик. Он не привы́к остава́ться оди́н без ма́мы, па́пы и́ли хотя́ бы ня́ни.

— Идёт, — сказа́л па́па и, звя́кнув кали́ткой, скры́лся.

Алик в сопровожде́нии соба́ки, обходя́ сторо́нкой гусе́й, прошёл в тенёк под наве́с, где стоя́ло не́сколько поле́нниц берёзовых дров и ко́злы. К стене́ бы́ли прислонены́ пила́ и ви́лы. Вдыха́я е́дкий за́пах навоза, Алик стал

бродить под навесом, рассматривая весло с облупившейся краской, обрывок истлевшей сети, бочку, несколько длинных кривых удилищ с металлическими катушками — значит, и здесь, как в Иркутске, ловят рыбу на рулетку? Интересно... Все предметы, лежавшие под навесом, были знакомы мальчику. Впрочем, нет, не все. Что это вон за деревянная штуковина стоит в углу?

Алик присел на корточки, потрогал пальцами штуковину. Крепкая, сухая, вся в трещинах. Рядом лежала толстая ржавая труба с едва заметными насечками по краям. Алик перевернул её и нашёл у закованного конца дырочку.

Сзади раздались шаги, и Алик отпрянул от трубы: ещё подумают чего! Перед ним стоял дед и, улыбаясь, пощипывал бороду:

— С хозяйством знакомимся?

— Знакомлюсь, — пролепетал Алик.

— Ну-ну. А всё понял, что к чему?

— А чего здесь понимать? Что я, весла не видел, что ли...

— Весло-то видел, а вот энту деревяшку, может, и не видел. — Дед показал на ту самую деревянную штуковину. — Знаешь, что это? Вижу, что нет. Откуль тебе знать. Сошка это — вот что. Пахали ею. И я пахал, и мой отец, и дед, и прадед... Выищешь, в лесу берёзу поудобней, посуше, вырубишь, обтешешь, а потом Буланку запряжёшь — и в борозду. Спалить бы давно надо, да жаль...

— Не нужно палить, — согласился Алик, присаживаясь на толстую ржавую трубу.

Дед тронул её носком сапога:

— Ну, а это ты знаешь, чего объяснять, — пушка.

— Это пушка? — воскликнул Алик, приподнимаясь с трубы и чувствуя холодок в пальцах.

— Дрянная была, пороху жрала до чёрта... У Колчака, вишь, артиллерия полковая, ну, а мы энту артиллерию придумали... Попартизанила старушка, подымила, попужала... Всё и валяется тут с тех годов.

— Дедушка, а вы были партизаном? — спросил Алик.

— Да чего там... — Дед махнул рукой и присел на козлы. — Проживёшь семь десятков, съешь, как я, зубы — не из того стрелять станешь. Спокою-то в мои года не было: то японская, то германская, то опосля[1] Колчак объявился. Будешь глазами хлопать — шкуру сдерёт на сапоги. Во вторую-то германскую не тронулся, годы вышли, а сынка-то Андрея взяли. С части отписывали: убило его в Будапеште, могилка у Дуная. Ох, и верный глаз у парня был! Белок за сезон, что шишек натащит; на лис тоже сноровку имел. Баба у него осталась, Анфиска, доярка в колхозе ноне... Ещё молодая была, горячая. Сватались к ней парни. «Уходи, — говорю, — из дому, твои годы ещё не все, детишек колыхать будешь». Да, уговоришь такую! «Никто, — говорит, — окромя[2] Андрея, не люб мне». Одно слово, баба... Ну, а теперича куда ей, пятый десяток уже пошёл...

Алик сидел на трубе, поджав ноги, и немигающим взглядом смотрел на деда, на его широченную худую грудь, на громадные корявые руки, чем-то напоминавшие соху. Дед говорил с ним о таких взрослых вещах, о которых мама с папой и не заикались при нём. И Алик впервые подумал, что он не так уж мал, стал бы иначе дед рассказывать ему свою жизнь.

И Алик узнал, что совсем ещё недавно эта деревня была глухой, до районного центра вела через тайгу узкая, извилистая дорога, и нередко лошадь, почуяв вблизи медведя или волка, вскидывала голову, храпела и так несла — только с телеги не свались! Никто, даже дедов дед, не помнит, когда заложили деревню, но приезжав-

[1] Опосля (простореч.) — после, позднее.

[2] Окромя (простореч.) — кроме.

шие из Иркутска учёные по каким-то приметам установили, что первый сруб здесь поставили ссыльные лет триста назад. Пожалуй, это верно, ведь избы в их деревне старые, ссохшиеся, чёрные, словно обугленные. Изба, в которой живёт дед, срублена лет двести назад одним топором, без пилы и собрана без единого гвоздя или скобы. Окна в ней крохотные, с резными наличниками, и, когда дед был молод, на них вместо стёкол была натянута коровья брюшина, темно было даже в солнечный день, не то что теперь. Но недолго осталось в ней вековать, в этом прадедовском жилище. Скоро придёт сюда море, и придётся сниматься со старого гнездовья, строить новый дом, высокий, просторный, с широкими окнами, а эту избёнку хоть в музей сдавай.

И ещё Алик узнал, что когда-то вокруг были одни леса, и, чтоб отвоевать у тайги клочок земли под поле и огород, приходилось пилить и корчевать лес, взрыхлять землю сохой. Столько было дел и забот — рубаха от пота не просыхала. И продолжалась такая жизнь долго, до тех пор, пока не отгромыхала гражданская война, пока не порешили на сходке крестьяне свести всех лошадей в одну конюшню, собрать зерно для посева и работать сообща, назвав свою артель «Вперёд».

Дед рассказывал, как поначалу подсыпали кулаки лошадям в овёс битое стекло и железные опилки, как пытались поджечь амбар с посевным зерном. Дедовы слова вылетали откуда-то из бороды и усов и, казалось, мешали словам: они вылетали хриплова́тые, не очень внятные.

Вдруг стукнула калитка, и во дворе появилась невысокая женщина в суконной юбке и кирзовых сапогах. Она ходила, размахивая руками, как мужчина, и в ушах её качались серёжки.

— Заверни-ка сюда, Анфиска, — сказал дед, — знакомься с внучком, пожаловал-таки наконец.

— Нюшкин?

— Её.

И не успел дед договорить, как Алик очутился в сильных, горячих руках.

Потом Анфиса вынула из кармана горсть кедровых орехов и дала Алику.

— Ну, прости, мне пора на дойку, — вздохнула она, — уж вечерком наговоримся с тобой.

— А ты и его бы прихватила, — предложил дед, — по реке чуток покатается... Хочешь?

Алик промолчал. Он ничего не мог понять: при чём тут река? Ведь Анфиса идёт на дойку, а он отлично знает, что доить можно только коров, да ещё, кажется, коз, а никак не хариусов и тайменей [1]. Как же это он может покататься на реке?

Но, чтоб не попасть впросак, задавать вопросов Алик не стал.

— Хочу.

— Тогда айда! — бросила Анфиса и, размахивая руками, торопливо зашагала на огород.

Мальчик кинулся следом. Они шли по узкой тропке меж грядок с луком и капустой, а потом через заросли картофеля. Конский щавель и лебеда хлестали по голенищам тётиных сапог. Она шла быстро, и мальчик едва поспевал за нею. Штанишки у него были короткие, и всякий раз, когда травы стегали его по голым ногам, он морщился, а когда его обожгло крапивой, Алик чуть не заревел — ведь точно кипятком ошпарило. И, наверно, заревел бы, если б не стыдился Анфисы.

У Ангары было прохладно, хотя солнце ещё не село. Возле самой воды стояли три распряжённые подводы, лошади пощипывали возле них травку. В огромной тёмной лодке, причаленной тут же, белела уйма больших оцинкованных бидонов. За вёслами сидели несколько женщин.

— И где тебя нелёгкая носит? — сердито сказала одна. — Полчаса дожидаемся. Ну, полезай в карбас [2].

---

[1] Таймень — сибирская рыба.

[2] Карбас — большая лодка с высокими бортами.

— Да я не одна́, — сказа́ла Анфи́са, — адмира́ла вам привезла́... Ну, дай ру́ку, Алик, а то упадёшь.

Ма́льчику ста́ло нело́вко, что с ним обраща́ются, как с ма́леньким.

— Ничего́... — Алик на животе́ хра́бро перевали́лся через высо́кий борт карба́са.

— Тро́гай, ба́бы! — ве́село кри́кнула Анфи́са и нату́жилась, толка́я нос ло́дки.

Ей ста́ли помога́ть вёслами. Она́ вошла́ в во́ду, ре́зко толкну́ла карба́с и, как лихо́й кавалери́ст в седло́ коня́, несу́щегося на всём скаку́, впры́гнула в ло́дку. Лицо́ у неё раскрасне́лось, на широ́ких чёрных бровя́х дрожа́ли ка́пельки воды́. Она́ веле́ла Алику сиде́ть на корме́, а сама́ побежа́ла на нос — впро́чем, как и у всех анга́рских ло́док, нос и корма́ у карба́са бы́ли о́стрые.

— Весели́ей, ба́бы! — кри́кнула она́ с но́са, и больши́е вёсла дру́жно уда́рили по воде́.

Побежа́л наза́д бе́рег, ста́ли уменьша́ться ло́шади, захлю́пала, застуча́ла в борта́ вода́. Алик забы́л про обожжённые крапи́вой но́ги и хо́лод. Же́нщины гребли́ сла́женно, ритми́чно стуча́ли вёсла, карба́с так стреми́тельно лете́л по Ангаре́, что ма́льчик задохну́лся от ве́тра. Вначале сквозь прозра́чную во́ду видне́лись га́лька, тёмные пли́ты, бу́рые извива́ющиеся во́доросли, но вско́ре вода́ ста́ла чёрной, то́чно в коло́дце.

Чем да́льше от бе́рега, тем быстре́е тече́ние. С бе́шеной ско́ростью несла́сь вниз река́, клокота́ла и пе́нилась, и карба́с наперекóр тече́нию мча́лся к зелене́вшему впереди́ бе́регу. Алик пыта́лся вообрази́ть, что он — хра́брый путеше́ственник и открыва́тель Христофо́р Колу́мб, стои́т на па́лубе каравéллы и кома́ндует матро́сами. Но вообрази́ть э́то бы́ло тру́дно, потому́ что, во-пе́рвых, он не стоя́л на борту́, а сжа́вшись комо́чком, сиде́л на корме́, во-вторы́х, на како́й же э́то каравéлле мо́гут быть бидо́ны для молока́, в-тре́тьих, Колу́мб то́чно знал, что е́дет открыва́ть Индию, а Алик весьма́ сму́тно представля́л,

куда́ плывёт их карба́с по тако́й сумасше́дшей воде́. Ну, а в-четвёртых... Каки́е же э́то же́нщины в крестья́нских плато́чках мо́гут находи́ться на борту́ корабля́, е́сли откры́тие но́вых острово́в и континéнтов — де́ло мужско́е...

Нет, э́то была́ не каравéлла, э́то был обы́чный карба́с, и гна́ли его́ вперёд са́мые обыкнове́нные доя́рки.

— Ты отку́ль [1], сыно́к? — вдруг спроси́ла у него́ бли́жняя же́нщина.

— Из Иркýтска, — сказа́л Алик, — мой па́па гла́вный инжене́р и прие́хал на стро́йку, а я — к де́душке и ба́бушке.

— Ну, и ве́рно, — сказа́ла же́нщина, — ле́том у нас приво́льно, ме́ста краси́вей не найдёшь.

— Ма́ма говори́т, что во́здух в дере́вне поле́зней смета́ны, — отозва́лся Алик, и все в карба́се почему́-то заулыба́лись, и ма́льчику ста́ло нело́вко.

— То́чно, — согласи́лась же́нщина. — А кто твоя́ ма́мка? Не на́ша?

— Анна Петро́вна, — отве́тил ма́льчик.

— Слу́шай, Анфи́ска, — кри́кнула же́нщина, — чей он?

— Нюшкин, — донесло́сь с но́са.

— Бо́же мой!.. А ну́-ка, посмотри́ на меня́... Да, что́-то есть. Глазёнки как у ней. Так она́ же, зна́ешь ли ты, она́ перве́йшая моя́ това́рка была́, пого́дки мы, скоти́ну пасли́ вме́сте, карто́шку в золе́ пекли́, по голуби́цу бе́гали... А ско́лько часту́шек-то перепе́ли! Она́ тогда́ ещё де́вкой была́, а но́нче, смотри́-ка ты, и но́са сюда́ не ка́жет...

— А ты чего́ хо́чешь, — откли́кнулась втора́я же́нщина, — у ней и тогда́ го́род на уме́ был: уе́ду да уе́ду...

— А что тако́е пого́дки? — спроси́л Алик у пе́рвой же́нщины, слегка́ обижа́ясь на неё за то, что она́ назвала́ ма́му де́вкой и не о́чень дово́льна тем, что ма́ма уе́хала из дере́вни.

— Родили́сь в оди́н год с ней, в два́дцать пя́том, зна́чит — вот и пого́дки...

---

[1] Отку́ль — пра́вильно: отку́да.

Алик смотрел на эту женщину и никак не мог поверить, что она ровесница маме. Ведь мама совсем ещё молода: на лице ни морщинки, и лицо у неё белое, чистое, улыбчивое, милое, а у этой оно чёрное, с облезлым от загара носом, иссечённое морщинками, и, кажется, на десять лет она старше мамы.

— Да ты зазяб, поди, — вдруг спохватилась женщина, — дрожишь весь.

— Ничего, — ответил Алик, — это я так...

Но не успел он договорить, как женщина, вывернув назад руки, быстро стащила с себя вязаную кофту и накинула её на мальчика. И сразу ему стало тепло и удобно, точно у батареи парового отопления сидел.

От этой женщины он узнал, что они едут на Долгий остров, где хорошее пастбище для колхозных коров. С начала лета перевозят их на остров в карбасах — по пятнадцать голов зараз, там коровы и живут до осени. Туда — с пустыми бидонами, оттуда — с молоком.

— И ни капельки не страшно? — Алик посмотрел в бегущую воду, и у него слегка закружилась голова.

— А чего тут... — засмеялась женщина. — Привычные мы.

У неё, как и у Анфисы, были крепкие, жилистые руки, обветренное, сухощавое лицо. Вёсла она держала легко и цепко, плотно сдвинув пальцы. На правой руке блеснуло серебряное кольцо.

Внезапно где-то внизу по течению ухнул взрыв, и Алик подпрыгнул.

— Скалу рвут, — сказала женщина, — дорогу ведут. Камень там, что железо, только взрывчаткой и возьмёшь...

«До чего же здесь всё нелегко! — подумал Алик. — Хочешь дорогу провести — рви скалы, хочешь поесть хлеба — корчуй леса, хочешь молочка попить — греби через эту протоку по сумасшедшей воде... Не то что в городе: под ногами гладкий асфальт, только ногами двигать не

лениись — сами идут; молока в магазинах хоть залейся — есть и в бутылках, есть и в разлив. Нужен хлеб? Ничего корчевать не надо, подай продавщице чек и получай что душе угодно: чёрный, белый, плюшки, жаворонки, батоны, булки с изюмом...»

— Анфиска, бревно! — вдруг пронзительно вскрикнула одна женщина, и Алик увидел, что на лодку несётся бревно — гигантское, с обрубленными сучьями. Удар — и оно перевернёт карбас. И в то мгновение, когда карбас должен был опрокинуться, на носу мелькнула чья-то тень и метнулась за борт, карбас дёрнулся, и Алик больно стукнулся зубами о коленки.

Бревно, вращаясь в воде, пронеслось мимо, а карбас, сильно вильнув в сторону и накренившись, пролетел в метре от него. И тут остолбеневший Алик увидел, как Анфиса, выжимаясь на руках, перебросила ноги в карбас и с её левого сапога бежит ручей.

— Окаянное! — выругалась Анфиса. — Кора-то размякла вся, чуть не оскользнулась. Доили бы коров у пресвятой богородицы...

Карбас ткнулся в берег, Анфиса выскочила и, упираясь каблуками в гальку, подтащила его. Из карбаса, передавая друг другу бидоны, быстро выбрались остальные. Потом Анфиса стянула сапог, вылила из него воду, выкрутила чулок, обулась, и они скрылись за кустами густого тальника, откуда доносилось протяжное мычание...

Возвращались медленней; под тяжестью полных бидонов карбас глубоко осел. Бидоны были тёплые, к ним приятно было прикоснуться. Солнце уже опустилось, и сразу стало как-то тише, таинственней, задумчивей вокруг. Потемнела, густой синевой налилась вода; далеко впереди, на крутом взгорке, избы почти растворились в сумраке, выползавшем из тайги. И она, тайга, угрюмая и враждебная, чернёвшая за избами, за полоской шоссе, казалось, всё ближе и ближе подступает к Ангаре, чтоб смять шоссе, столкнуть вниз деревню, захватить поля,

огоро́ды и сенокóсы, верну́ть себе́ всё то, что когда́-то о́тняли у неё лю́ди...

Куда́ ни глянь — леса́. Оку́танные вече́рней ды́мкой, далёкие, бескра́йние и непроходи́мые, они́ захлестну́ли свое́й гро́зной мо́щью весь мир, и то́лько Ангара́ с трудо́м кое-ка́к пробива́лась сквозь них и ту́скло отсве́чивала в клубя́щихся су́мерках ве́чера. И Алик вдруг впервы́е почу́вствовал, как он мал и ничто́жен по сравне́нию с э́тими людьми́.

Вода́ по-пре́жнему бе́шено несла́сь вниз, завора́чиваясь в воро́нки и вскипа́я, пе́нилась у борто́в и хоте́ла поверну́ть карба́с но́сом вниз, унести́ с собо́й, разби́ть о поро́ги, но ме́рно и реши́тельно подыма́лись и опуска́лись вёсла, и карба́с уве́ренно и неотсту́пно шёл к бе́регу...

Погрузи́в на подво́ды бидо́ны, пошли́ домо́й. Ма́льчик совсе́м продро́г, съёжился. Он бежа́л сле́дом за тётей и едва́ успева́л отбива́ться от комаро́в: они́ бо́льно жа́лили лицо́, ше́ю, но́ги, забива́лись и оглуши́тельно звене́ли в уша́х, проника́ли в нос, в глаза́.

Пе́рвые звёзды мигну́ли над тайго́й, где́-то ла́яли собáки, до одуре́ния си́льно па́хло све́жим се́ном и полы́нью. Отку́да-то спе́реди, из темноты́, наплы́ли зву́ки баяна и смех.

— Са́нька вороти́лся, — сказа́ла Анфи́са, пропуска́я ма́льчика в кали́тку, — дя́дька твой.

Алик так уста́л от всего́ ви́денного и пе́режитого сего́дня, что хоте́л спать и ничего́ не отве́тил.

Переступи́в поро́г го́рницы, он зажму́рился — тако́й я́ркий свет уда́рил ему́ в глаза́. За столо́м, уста́вленным пирога́ми, колбасо́й, ветчино́й, пря́никами, стака́нами, кру́жками и высо́ким гли́няным жба́ном с бра́гой, сиде́ли па́па, дед, ба́бка, На́дя и ещё каки́е-то незнако́мые лю́ди. Но́ги у ма́льчика сло́вно приста́ли к по́лу, но Анфи́са подтолкну́ла его́ в спи́ну, гро́мко поздоро́валась с гостя́ми. И Алик то́же сказа́л: «Здра́вствуйте», но го́лос его́ прозвуча́л ка́к-то расте́рянно, зайскивающе. Он подошёл

215—1

к столу́ и, то́чно свя́занный по рука́м и нога́м взгля́дами незнако́мых, уста́вился на па́пу.

— Так вот он како́й, ваш богаты́рь! — сказа́л молодо́й па́рень, держа́вший на коле́нях баян, тряхну́л огро́мной ша́пкой вью́щихся ру́сых воло́с и ме́дленно разверну́л баян, наполня́я избу́ волно́й переливающихся зву́ков.

Па́рень так же ме́дленно сложи́л растя́нутые мехи́, собра́в в баян все разлете́вшиеся по избе́ зву́ки, и, не снима́я с рук ремне́й, сказа́л:

— Ты, говоря́т, уже́ на До́лгий о́стров е́здил коро́в дои́ть?

— Ездил, — отве́тил Алик, — то́лько я не дои́л. Ката́лся.

— Вот оно́ что! А ви́д-то у тебя́ тако́й, то́чно ты оди́н всё ста́до вы́доил.

— Ну чего́ ты, Са́нька, прицепи́лся к мальчо́нке! — ши́кнула на него́ Анфи́са.

— Дай с племяшо́м поговори́ть... Чего́ ему́ на коро́в смотре́ть, он лу́чше за́втра со мной на ГЭС пое́дет. Пое́дешь со мной, а?

Глаза́ Са́ньки в упо́р смотре́ли на Алика.

— Не зна́ю, — сказа́л Алик и опусти́л глаза́.

— А чего́ тут знать? Я тебя́ сме́нщиком свои́м офо́рмлю, — продолжа́л Са́нька. — То́лько ско́рости поло́женной не превыша́й и, когда́ выгружа́ешь грунт из самосва́ла, ше́ю не жале́й в за́днее око́шко смотре́ть, а то так и у́хнешься в Ангару́? Идёт?

— Ага́, — пообеща́л Алик. — А я суме́ю?

— Да чего́ там уме́ть? Гла́вное, бара́нку из рук не выпуска́ть да в о́ба смотре́ть... Тут тако́е де́ло развора́чивается, о́чень рабо́чая си́ла нужна́. Осо́бенно наш брат, шофёр, це́нится...

Са́нька говори́л бы́стро, сби́вчиво, и Алик, хотя́ и знал, что тот шу́тит, дове́рчиво смотре́л в горя́щую синеву́ его́ глаз и хоте́л ве́рить, что и он смог бы рабо́тать шофёром, потому́ что о́чень нужны́ лю́ди здесь, на э́тих места́х, где

бу́дет плеска́ться огро́мное мо́ре, где вы́растут города́ и отку́да повезу́т поезда́ го́ры ка́менного у́гля и штабеля́ ле́са...

— Ну, а раз ве́рно, то спля́шем! Выходи́ пе́рвый — я поигра́ю.

— Я не уме́ю, — сказа́л Алик.

— Ну, тогда́ ты поигра́й, а я полови́цы погну́... Вот э́то играни́-ка!

И Са́нька бе́шено рвану́л баян, и изба́, каза́лось, качну́лась от бу́ри зву́ков. Но, ви́дя, что ма́льчик жа́лко улыба́ется, гля́дя на него́, Са́нька переда́л баян второ́му дю́жему па́рню, тяну́вшему бра́гу из кру́жки, и, когда́ тот развёл мехи́, Са́ньку сло́вно ве́тром сду́ло с ла́вки. Он хло́пнул ладо́нью по сапогу́ и пошёл вприся́дку, вски́дывая но́ги вы́ше головы́.

— Ти́ше ты, очуме́лый! — бу́ркнула ба́бка. — Два го́да ещё, поди́, жи́ть-то в избе́.

Но Са́нька не слу́шал её. Он отка́лывал таки́е коле́нца [1], что у Алика голова́ шла кру́гом. Он пыта́лся вначе́ле уследи́ть за его́ нога́ми, но э́то бы́ло невозмо́жно, потому́ что они́ из одного́ угла́ избы́ кида́лись в друго́й, подпры́гивали в во́здух, заходи́ли одна́ за другу́ю, ста́лкивались каблука́ми и разлета́лись в сто́роны. В жба́не плеска́лась оста́вшаяся бра́га, пры́гал в ла́мпе фити́ль, стол и ла́вки дрожа́ли ме́лкой дро́жью, и Алик и впра́вду пове́рил, что изба́ мо́жет ру́хнуть от тако́й пля́ски. А Са́нька шёл на каблука́х вдоль го́рницы, положи́в на заты́лок ру́ку, выде́лывая нога́ми чёрт зна́ет что, его́ глаза́ бесшаба́шной синевы́ блесте́ли у́далью, вы́зовом...

И вдруг Са́нька, раски́нув ру́ки и сдви́нув сапоги́, за́мер посреди́ го́рницы. Мгнове́нием по́зже замерла́ и гармо́шка. Са́нька вы́тер ладо́нью мо́крый, как по́сле тяжёлой рабо́ты, лоб, подошёл к столу́, за́лпом вы́пил кру́жку бра́ги, поста́вил её на стол и сверкну́л глаза́ми:

— Ну, ба́тя, я дви́нулся.

[1] Отка́лывал... коле́нца — здесь: пляса́л ли́хо, задо́рно.

С ла́вки подняли́сь два его́ прия́теля.

— Куда́ э́то ты так по́здно? — удиви́лся па́па Алика.

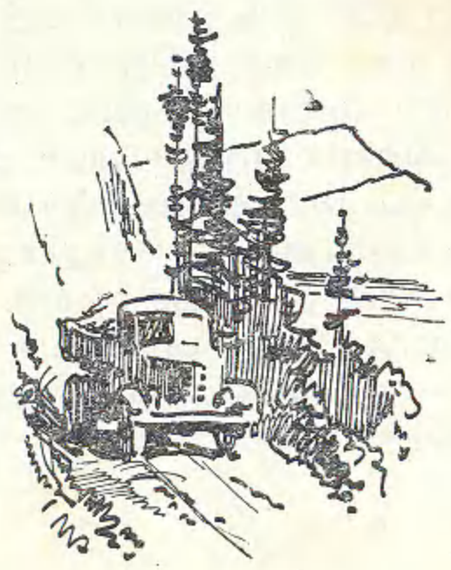
— Приосты́ть на́до, дя́дя Ва́ня, — сказа́л Са́нька, — на у́лице сейча́с холодо́к, в са́мый раз.

Когда́ Са́нька с това́рищами вы́шел из избы́ и их голоса́ затеря́лись в ночи́, дед посмотре́л на чёрные стёкла и вздохну́л:

— С пе́рвыми петуха́ми тепе́рь зая́вится... Три часа́ поспи́т — и на автоба́зу...

Утром, когда́ Алик просну́лся, Са́ньки не́ было в избе́ — он, наве́рно, ли́хо вёл свой ве́рхом гру́женный самосва́л вдоль Ангары́. Со́лнце пробива́лось сквозь си́тцевые занаве́ски, и на тёмных брёвнах стен уже́ не шевели́лись, как до́ма, ска́зочно краси́вые те́ни ра́йских птиц с пы́шными хвоста́ми испа́нские карве́ллы со взду́тыми паруса́ми, коко́совые па́льмы с тропи́ческих острово́в Океа́нии. Пя́тна ело́вых лап, о́тблеск но́вого мо́ря, те́ни заводски́х труб и ды́ма ме́дленно поплы́ли по брёвнам избы́...

Эх, Алик, Алик, де́вять лет про́жил ты на све́те, а до сих пор не знал, что вот э́ти обыкнове́нные лю́ди, кото́рые упо́рно корчу́ют дере́вья под па́шни, пасу́т стада́, собира́ют и моло́тят хлеб, бесстра́шно го́нят по река́м плоты́ — твоя́ настоя́щая родня́, что в твои́х жи́лах течёт могу́чая, ве́рная кровь и что земля́, где ты живёшь, — вели́кая, суро́вая, тру́дная земля́ и что зовётся она́ — Росси́я!



БЕЛЫЕ БУРУНЫ

На скамье́ у небольшо́го деревя́нного до́ма сиде́л де́душка Афана́сий, окружённый гурьбо́й ребя́т. Всем на скамье́ ме́ста не хвати́ло, и кое-кто́ из мальчи́шек усе́лся пря́мо на зе́млю и, обхвати́в рука́ми коле́ни, сни́зу смотре́л на морщи́нистое лицо́ де́душки, на его́ клочкова́тую си́зую бо́роду. На изре́занной тре́щинками ше́е видне́лась тесёмка нате́льного креста́. Де́душка свора́чивал жёлтыми от махры́ па́льцами цига́рку и во всех подро́бностях расска́зывал, как «взял» своего́ шесто́го медве́дя.

Всего́ за свою́ жизнь он уби́л четы́рнадцать медве́дей. Четы́рнадцать гро́зных косма́тых звере́й. И мальчи́шки э́той окра́инной ирку́тской у́лицы лови́ли моме́нт, когда́ де́душка Афана́сий, опира́ясь руко́й о бреве́нчатую сте́ну до́ма, выходи́л погре́ться на со́лнце.

— Вы́следил я э́ту шу́бу в Чёрной па́ди, — говори́л де́душка. — Была́ при мне рога́тина, нож да соба́ка Волк, ла́йка, се́рая с бе́лыми уша́ми... Померла́ тепе́рь, ца́рство ей небе́сное...

В э́то вре́мя к ним подошёл высо́кий па́рень в си́нем комбинезо́не с засу́ченными рукава́ми.

— Дед, дай закури́ть, — попроси́л он.

И то́тчас, как то́лько разда́лся его́ го́лос, с земли́ вскочи́л оди́н из мальчи́шек; вскочи́л, поверну́лся к нему́ спино́й и зашага́л прочь.

— Вы куда́ э́то торо́питесь, Гаврии́л Пантелеймо́нович? — спроси́л па́рень, заслю́нивая цига́рку.

Но мальчи́шка — его́ зва́ли Га́врик — да́же не оберну́лся. Его́ у́зкие пры́гающие пле́чи, небре́жно ступа́ющие босы́е но́ги и то́ненькая ше́я — всё выража́ло велича́йшее презре́ние к па́рню в си́нем, пропа́хшем кероси́ном комбинезо́не. Га́врик скры́лся. Все ду́мали, что он ушёл домо́й и́ли валя́ется сейча́с у себя́ на огоро́де. И все ошиба́лись. Га́врик обогну́л кварта́л и с друго́й стороны́, из-за угла́ до́ма, наблюда́л за ни́ми: ско́ро ли уйдёт э́тот па́рень? Уж о́чень хоте́лось дослу́шать исто́рию про шесто́го медве́дя. А э́тот, в комбинезо́не, уже́ тре́тий ме́сяц отравля́л его́ существова́ние на земле́.

А ме́жду про́чим, э́тот челове́к был не кто иной, как его́ родно́й брат.

Зва́ли его́ Валенти́н, рабо́тал он шофёром «на ГЭСе», как говори́ли в го́роде, а пра́вильней — на строи́тельстве Ирку́тской гидроэлектроста́нции. И был он всего́ на каки́х-нибудь пять лет ста́рше Га́врика. Но непроходи́мой про́пастью легли́ ме́жду ни́ми э́ти пять лет.

У Валенти́на бы́ли весёлые се́рые глаза́ с ма́ленькими, о́стрыми, как була́вки, зрачка́ми: посмо́трит — уко́лет.

Ангара́ — ледяна́я река́. Да́же в а́вгусте не ка́ждый рискнёт искупа́ться в ней. Ангара́ — стреми́тельная река́. Как кабарди́нский скаку́н, проно́сится она́ через го́род. А Валенти́н за́просто переплыва́л её. И да́же гу́бы не

дрожа́ли от хо́лода, когда́ вылеза́л на бе́рег. А вот Га́врик ещё ни ра́зу не вы́мочил свои́х трусо́в в анга́рской воде́. На Иркýт бе́гал купа́ться, э́то ве́рно, — вода́ там тёплая, и в зато́нах бара́хтался — то́же ве́рно. А в Ангаре́ то́лько па́льцы ног мочи́л.

Валенти́н легко́ взбира́лся на са́мый высо́кий кедр и швыря́л оттýда ши́шки, а Га́врик то́лько подбира́л их и щёлкал ма́ленькие кори́чневые оре́шки. Валенти́н в ти́ре три пýли подря́д сажа́л однý в другýю, а Га́врик то́лько подава́л емý патро́ны. Валенти́н с маху перепры́гивал высо́кую и́згородь во́зле их до́ма, а Га́врик бежа́л в обхо́д, в кали́тку.

— Ну, куда́ ты го́ден? — спра́шивал Валенти́н.

Га́врик бормота́л что́-то насчёт того́, что через пять лет и он... Но Валенти́н обрыва́л его́:

— А я в твои́ го́ды уже́ кое-что́ уме́л...

На ýлице говори́ли, что он во́дит свой огро́мный грузово́й «МАЗ», как лётчик — реакти́вный истреби́тель. И ни ра́зу мили́ция не отнима́ла у него́ права́. Зараба́тывал он ра́за в два бо́льше отца́ с ма́терью. В три ме́сяца трепа́л но́вый костю́м, и мать, вздыха́я, перешива́ла из него́ костю́м для Га́врика.

И вот его́-то, тако́го челове́ка, у кото́рого бы́ли весёлые стреми́тельные глаза́, на всю жизнь возненави́дел Га́врик.

Случи́лось всё неда́вно. Одна́жды на ýлице толпа́ ребя́т окружи́ла де́вочку. Она́ кулака́ми дави́ла слёзы, коси́чки пры́гали на её плеча́х. Ря́дом стоя́ла мать и вздра́гивающим го́лосом спра́шивала, кто вы́хватил у её до́чери кулёк с я́блоками, кото́рый де́вочка несла́ из магази́на, — я́блоки в э́том сиби́рском го́роде быва́ли ре́дко. Все молча́ли. К толпе́ подошёл Валенти́н. Широко́ расста́вив но́ги и сýнув рýки в карма́ны комбинезо́на, он оки́нул взгля́дом ребя́т и вдруг сказа́л:

— Эй, Га́врик, посмотри́ мне в глаза́.

Кровь бро́силась в лицо́ Га́врику.

— Где я́блоки?

До сих по́р Га́врик не мо́жет поня́ть, как Валенти́н догада́лся. Брат стоя́л над ним, не вынима́я из карма́нов рук, и внима́тельно рассма́тривал его́.

— Неси́ я́блоки, — сказа́л он. — Жи́во.

Но принести́ я́блоки при всём жела́нии Га́врик не мог. Минýту наза́д, забра́вшись в огоро́д, он дое́л после́днее и на две ды́рочки осла́бил реме́нь. Он вы́шел на ýлицу то́лько для того́, чтоб отвести́ от себя́ подозре́ния. Тогда́ Валенти́н протянýл же́нщине деся́тку за я́блоки, сýнул рýки в карма́ны и зашага́л домо́й. Вот и вся исто́рия. И э́того бы́ло доста́точно, чтоб испо́ртить Га́врику всю жизнь. Он стоя́л у забо́ра, и деся́тки глаз цара́пали его́ лицо́. И э́то сде́лал брат. Родно́й. При всех. Га́врик здесь же дал кля́тву порва́ть с бра́том. Навсегда́. Наве́к. Вы́растет у него́ седа́я борода́, как у де́душки Афана́сия, а с бра́том — ни сло́ва. Валенти́на люби́ла вся ýлица. Валенти́н обошёлся с ним, как с после́дним челове́ком. Из-за кулька́ я́блок испо́ртил емý жизнь! Игра́ют мальчи́шки в футбо́л — ре́дко поста́вят его́ в нападе́ние; идýт мальчи́шки на рыба́лку в Кузьми́ху — мо́гут забы́ть зайти́ за ним. И Га́врик возненави́дел бра́та. Он для него́ бо́льше не существова́л. Попро́сит кто́-нибудь позва́ть Валенти́на — ноль внима́ния. А одна́жды, вспыли́в, Га́врик сказа́л ма́тери, что ви́дел Валенти́на на танцýльках в садý и́мени Пари́жской коммýны с сосе́дской Ле́нкой. Но мать почемý-то не придала́ э́тому никако́го значе́ния.

И вот сейча́с, повернýв ке́пку козырько́м наза́д, Га́врик выгля́дывал из-за угла́ до́ма, ждал, ско́ро ли уберётся Валенти́н. А тот не торопи́лся уходи́ть. Он согна́л с ла́вки двух пацано́в, усе́лся ря́дом с де́душкой, и они́ о чём-то заспо́рили. Наконе́ц Валенти́н подня́лся и, гоня́ перед собо́й ка́мешек, ушёл. Он был в о́тпуске и днём без де́ла слоня́лся по го́роду. Когда́ Валенти́н исчез за поворо́том, Га́врик повернýл ке́пку козырько́м вперёд, вы́шел из укры́тия и лени́вой похо́дкой подошёл к скамье́. Он не

мог продолжа́ть свою́ жизнь, не узна́в о поеди́нке с э́тим шесты́м медве́дем.

— Ерунда́, — говори́л де́душка. — У Ангары́ звери́ный но́ров. Не сломи́ть её!

Га́врик насторожи́лся: о чём э́то они́?

— А всё-таки её перекро́ют! — упря́мо возрази́л оди́н мальчи́шка, Серёга Кау́рин. — Днепр перекры́ли, и Во́лгу перекры́ли, и Ка́му перекры́ли.

— А Ангара́ — э́то Ангара́! — повы́сил го́лос де́душка.

Ско́лько лет уже́ весь Ирку́тск живёт разгово́рами об э́той стро́йке! Га́врик ещё учи́лся в пе́рвом кла́ссе, а на берегу́ реки́ и на Кузьми́хинском о́строве уже́ возноси́лись в не́бо большу́щие бу́рые го́ры гра́вия и гли́ны. И Га́врик с мальчи́шками ла́зил по ним... И вот ока́зывается, что в э́том ме́сяце перекро́ют Ангару́!

— Перекро́ют, перекро́ют! — ора́ли мальчи́шки.

— Дура́к ты, дед, — сказа́л Га́врик и па́льцем постуча́л себе́ по́ лбу.

Де́душка махну́л руко́й, подня́лся, осторо́жно вы́прямился и, держа́сь за сте́ну, пошёл домо́й.

— Тебя́ кто сюда́ звал? — набро́сились мальчи́шки на Га́врика. — Прова́ливай!

И Га́врик ушёл. Кому́ пожа́луешься?

Случи́лось так, что в день, когда́ по ра́дио объяви́ли о перекры́тии, Га́врик гости́л у тётки в колхо́зе, неподалёку от Ирку́тска.

Вот угора́здило уе́хать в дере́вню — молочка́ попи́ть и подыша́ть во́здухом, когда́ в го́роде начина́лись таки́е собы́тия!

Уже́ через час по́сле сообще́ния Га́врик тря́сся в ку́зове попу́тной маши́ны. К ве́черу был в Ирку́тске. Домо́й не заходи́л — не хоте́л встреча́ть бра́та, да и вре́мени не́ было. На ходу́ взобра́лся в ку́зов друго́й маши́ны и понёсся на стро́йку.

Уже́ смерка́лось, но стро́йка была́ в огня́х. Огни́ горе́ли на зда́нии ГЭС, ещё недостро́енном, опу́танном пру́тьями армату́ры [1] и доска́ми опа́лубки [2]. Огоньки́ свети́лись на журавли́ных ше́ях гига́нтских порта́льных кра́нов. Огни́ пыла́ли на эстака́дах [3], расплыва́лись, встава́ли высо́ким тре́петным сия́нием. Внизу́, через зда́ние гидроста́нции, там, где бу́дут устано́влены огро́мные турби́ны, уже́ с рёвом проноси́лась вода́. Она́ шла но́вым ру́слом. Но река́ ещё лете́ла и по своему́ ста́рому ру́слу, по кото́рому шла ты́сячи веко́в. И Га́врик помча́лся туда́, где перекрыва́ли э́то ста́рое ру́сло. Он пробежа́л через зда́ние гидроста́нции под грома́дными а́рками стоя́щих на ре́льсах порта́льных кра́нов, он перепры́гивал рези́новые ка́бели, желе́зные тру́бы, балло́ны с га́зом, похо́жие на торпе́ды...

Да и как бы́ло не спеши́ть? Ангару́ могли́ перекры́ть, не дожда́вшись его́.

Когда́ он уви́дел сверка́ющую в огня́х ре́ку, тёмную спи́ну понто́нного мо́ста [4], по кото́рому с гро́зным гу́лом дви́гались коло́нны маши́н, и вспы́хивающие на ветру́ знамёна, Га́врик на мину́ту останови́лся, что́бы вобра́ть в себя́ всю э́ту красоту́. Зате́м он помча́лся вниз, к доро́ге, проло́женной от карье́ров к мо́сту.

— Дя́денька, возьми́те! — заора́л он и замаха́л рука́ми проходи́вшей маши́не.

Но маши́на прошла́ ми́мо, содрога́ясь под тя́жестью гру́за и растира́я жернова́ми колёс суху́ю гли́ну. За ней шла втора́я маши́на, прощу́пывая фа́рами доро́гу.

— Дя́денька, дя́денька!

Жа́рким ды́мом обдава́ли его́ одна́ маши́на за друго́й.

---

[1] Армату́ра — здесь: обору́дование для электри́ческого освеще́ния.

[2] Опа́лубка — обши́вка доска́ми нару́жных часте́й сооруже́ния.

[3] Эстака́да — здесь: помо́ст для перехо́да и переезда через ре́ку.

[4] Понто́нный мост — плаву́чий мост.

Шоферы в замасленных пиджаках сидели в кабинах, как императоры на троне, — торжественно, строго, прямо. И, как императоры, они были недоступны и глухи к мольбам мальчишки.

Только изредка какой-нибудь «император» грозил ему грязным кулаком: не вертись под колёсами! Когда уже совсем стемнело и Гаврик потерял всякую надежду проехаться на самосвале, какой-то «МАЗ» наконец остановился перед ним. Дверца откинулась. Гаврик не заставил себя ждать, он вскочил в кабину, со вздохом счастья погрузился в сиденье и повелительно крикнул:

— Езжай!

«МАЗ» тронулся и пошёл, набирая скорость.

— Привет Гаврилу Пантелеймоновичу! — вдруг прозвучало рядом. — Так-то вы отдыхаете у тёти Марфы?

На него смотрели весёлые острые глаза с чёрными, как перец, едкими зрачками.

Гаврик нажал на дверцу и уже занёс ногу на подножку, чтобы удрать, но был схвачен за плечо:

— Сиди, сиди, капуста квашеная!

Гаврик грузно сел, туго соображая. Откуда здесь брат? Ведь у него отпуск!.. А что поделать с клятвой? Вырастет у него седая борода, как у дедушки Афанасия, а с братом — ни слова? Но соображение о том, что больше никто не возьмёт, пересилило все сомнения.

Гаврика бросало на пружинах, он сжал губы и не смотрел на брата. Но, как назло, в переднем стекле виднелось его отражение. Лицо худое, скуластое, мокрое и всё в грязных пятнах. На баранке лежат руки, жилистые, обнажённые выше локтей. На макушке — вихор волос. Изменился брат, и не узнать сразу. И только глаза прежние — весёлые, едкие, ненавистные.

А вот и мост — длинный, узкий, на чёрных баржах-понтонах. А у въезда — милиция. Иркутян вокруг видимо-невидимо. Все хотят на мост, но мост — только для машин. И поэтому у въезда — милиция.

— Прячься! — приказал Валентин.

Широкая рука легла ему на голову, и Гаврик въехал в сиденье, переломился пополам. И вот передние скаты осторожно вкатились на мост. Синим дымом стреляли машины, и этот дым вставал густой завесой, словно на мосту пожар. Задние скаты въехали на мост. Мост задрожал и выгнулся под тяжестью. Кровь отлила от лица Гаврика — кажется, они проваливаются вместе с мостом в Ангару.

Не помня себя, схватился за руку брата. Рука на баранке жёсткая, неподвижная, горячая. А внизу ревёт, клокочет вода, задыхается от бешенства, бьёт в железные баржи. Гаврик прижался к Валентину.

— Слюнтяй, — усмехнулся Валентин.

Гаврик отшатнулся, захлёстнутый обидой.

Брат развернул машину, поставил задом к краю моста. Взлетел флажок сигнальщика, и он включил подъёмник. Кузов пополз вверх. И кузова всей колонны полезли вверх. Машина вздрогнула на тугих скатах. Грохоча и толкаясь, стараясь обогнать друг друга, тяжёлые камни ринулись вниз — вниз, в густую ревущую воду. Вода прыгала, бесновалась, била в понтоны. Мост прогибался, и Гаврику казалось, что мост падает вниз и вместе с ним падает вниз он, Гаврик, и потом мост взлетал вверх и вместе с ним взлетал вверх и Гаврик. И тогда он снова хватался за брата, за ручку дверцы, за баранку — только бы удержаться на сиденье!

Но вот машина взревела, тронулась и, пристроившись к кузову передней, двинулась с моста. И вот они летят по дороге к карьеру. Становятся под ковш экскаватора. Машина прыгнет на скатах — из ковша хлынет камень. Ещё раз... Ещё раз... И машина летит по дороге. И под ней выгибается мост. Валентин опять включает подъёмник. Ангара кипит и неистовствует. Бросает мост то вверх, то вниз. И они снова мчатся к карьеру, и ковш над ними раскрывает стальную пасть...

Утро. Пе́рвые лучи́ но́вого дня тро́нули лёгкие ту́чки, зажгли́сь на стёклах каби́н. Плывёт над землёй пло́тный тума́н. Ру́ки Валенти́на всё ещё лежа́т на бара́нке, а Га́врик трясётся на сиде́нье. Они́ уже́ во́зят не ка́мни: в ку́зове ёрзают многото́нные бето́нные кубы́, и ка́ждое их движе́ние чу́вствует Га́врик — вся маши́на содрога́ется.

И кубы́ летя́т с мо́ста, летя́т в во́ду! Ангара́ ревёт и вздува́ет океа́нские валы́, Ангара́ выворáчивает слепя́щие буруны́ и, как песчи́нки, швыря́ет кубы́.

Ты́сячу веко́в несла́сь она́ э́той доро́гой и ты́сяча пе́рвый хо́чет нести́сь по ней. Но лю́ди сказа́ли: хва́тит. Валенти́н сказа́л, Га́врик сказа́л...

И вот Ангара́ грохо́чет, ле́зет на дыбы́, пе́нится, бьёт в мост, го́нит буруны́. Вся река́ в бе́лых буруна́х. Они́ иду́т про́тив тече́ния, игра́ют огро́мными камня́ми, взрыва́ются...

— Ну что ж, пошуми́, коне́ц бли́зок, — говори́т Валенти́н Ангаре́. — Ве́рно, Гаврии́л Пантелеймо́нович? — И он ведёт маши́ну с мо́ста за но́выми куба́ми.

Коне́ц бли́зок. Со дна уже́ поднима́ется банке́т — ка́менная да́мба. Гре́бнем торча́т из воды́ се́рые гра́ни кубо́в. Вода́ перехлёстывает гре́бень, сто́нет и грызёт ка́мень. Но ка́мень твёрд. И ру́ки, броса́вшие э́тот ка́мень, тверды́.

...Га́врик оста́вил Валенти́на в гараже́ и шёл домо́й оди́н. Часо́в пятна́дцать тря́сся он в каби́не и отча́янно уста́л, и, хотя́ ве́ки отяжеле́ли, а в голове́ по-пре́жнему гуде́ли па́дающие в Ангару́ кубы́, но́ги са́ми несли́ его́. У забо́ра знако́мые мальчи́шки игра́ли в «чи́жика». Они́ крича́ли, взви́згивали, спо́рили о чём-то. Га́врик да́же не посмотре́л в их сто́рону и неторопли́во прошёл ми́мо. У хле́бного магази́на навстре́чу ему́ попа́лся Серёга Кау́рин, оди́н из его́ гла́вных недоброжела́телей. Он на ходу́ куса́л большо́й кала́ч и уплета́л за о́бе щеки́. При ви́де Га́врика его́ глаза́ насме́шливо су́зились:

— Эй, ты, отку́да?

— Отту́да, — Га́врик небре́жно кивну́л в сто́рону реки́. — Ангару́ мы перекрыва́ли, — неохо́тно доба́вил он и зевну́л так, сло́вно все встре́чные надое́ли ему́ с расспро́сами.

Тот удивлённо сви́стнул ему́ вслед:

— То́же, мы паха́ли!

Но Га́врик да́же не удосто́ил его́ отве́том — что там с сопляка́ми объясня́ться! Он уста́ло су́нул в карма́ны ру́ки и тяжёлой похо́дкой рабо́чего челове́ка зашага́л да́льше. Да и что ему́ бы́ли тепе́рь все ме́лочи и оби́ды, ему́, смотре́вшему в глаза́ э́тим бе́шеным бе́лым буруна́м! Попу́тный ве́тер дул ему́ в спи́ну и раздува́л руба́ху, и в его́ се́рых глаза́х, несмотря́ на уста́лость, появи́лось что́-то но́вое — стреми́тельное и весёлое, а зрачки́ ста́ли е́дкими, как пе́рец.

ДЕД ЛАВРЕНТИЙ

Уж е́сли лезть в огоро́д, так то́лько к де́ду Лавре́нтию. Забра́вшись к нему́, мальчи́шки соверше́нно то́чно зна́ли, что дед до́ма. Ну и пусть! Что за интере́с лезть, е́сли его́ нет? Рви ско́лько уго́дно морко́вки и реди́ски, набива́й карма́ны, суй за па́зуху... То ли де́ло по́лзать по гря́дкам, зна́я, что хозя́ин ка́ждую мину́ту мо́жет вы́йти и́з дому! Вы́дернешь морко́вку за зелёный хво́стик, а у самого́ под ло́жечкой сосёт...

Морко́вку они́ выбира́ли са́мую кру́пную. Если по оши́бке попада́лась ме́лочь, её выбра́сывали. То́лько оди́н Ру́дик почти́ не рвал. Он то и де́ло вски́дывал го́лову, посма́тривая на крыльцо́.

— Тс-с-с, — вдруг прошепта́л он.

Мальчи́шки вжа́лись в зе́млю. На окне́, выходи́вшем в огоро́д, съе́хала в сто́рону си́тцевая занаве́ска, и сквозь ре́дкую зелёную ботву́ они́ уви́дели самого́ Лавре́нтия. Пото́м занаве́ска задёрнулась, и Ти́мка прошепта́л:

— Поги́бли...

Дед Лавре́нтий вы́шел на крыльцо́.

Был он сутулова́т, небри́т, с дикова́тыми, глубоко́ сидя́щими глаза́ми. Как и большинство́ старико́в посёлка, он носи́л потрёпанный морско́й ки́тель, то́лько у него́ он был си́льно заса́лен, застёгивался на одну́ уцеле́вшую пу́говицу, и, когда́ дед ходи́л по у́лице, из-под ки́теля видне́лась бе́лая руба́ха. Лавре́нтий бы́стро сошёл с крыльца́, встал на ни́жнюю жердь огра́ды, вы́тянулся и уви́дел мальчи́шечьи спи́ны.

— Так, — сказа́л он. — Чего́ разлегли́сь? Рви́те...

Пото́м доста́л из нагру́дного карма́на обтрёпанный блокно́т и огры́зком карандаша́ что́-то записа́л в нём. Он не крича́л, и не стега́л их крапи́вой, и да́же не выгоня́л с огоро́да, он то́лько аккура́тно вписа́л что́-то в блокно́т. И мальчи́шки отли́чно зна́ли — что́. Ох, как до сих пор но́ет у Ти́мки у́хо! Чуть не оторва́л его́ тогда́ оте́ц. А за что? Уви́дел дед Лавре́нтий, как Ти́мка отобра́л у ры́жей Ле́нки ша́пку подсо́лнуха, останови́лся, вы́тащил э́тот са́мый блокно́т, что́-то занёс в него́ — и вот пришло́сь име́ть де́ло с отцо́м.

Дед спря́тал блокно́т в карма́н и пошёл к воро́там. Шёл он неспе́шно, про́чно, на всю подо́шву ста́вя сапо́г, и в его́ по́зе чу́вствовалась удовлетворённость. Мальчи́шки вста́ли и на́чали отря́хиваться от земли́. Ти́мка сплю́нул, вы́тащил из-за па́зухи горсть морко́вки, отобра́л са́мую кру́пную, вы́тер о сати́новую руба́ху и хоте́л уже́ вонзи́ть в неё зу́бы, но вдруг нахму́рился и, зара́нее ощути́в, как бу́дет у него́ к ве́черу горе́ть и второ́е у́хо, в сердца́х швырну́л морко́вку на зе́млю:

— Будь она́ про́клята!

— Вот ста́рая зану́да! — прошипе́л кудла́тый Ко́лька.

— А дава́йте проу́чим его́, — предложи́л Ру́дик, — ско́лько мо́жно терпе́ть!

— А точне́е? — спроси́л Ти́мка, и вдруг глаза́ его́ загоре́лись. — Посто́йте, есть иде́я!

И он объясни́л ребя́там: ну́жно неме́дленно прокра́сться в дом Лавре́нтия, набра́ть ведро́ воды́ и поста́вить на по́лку у две́ри; от ведра́ к ру́чке протяну́ть верёвку. И вот, когда́ дед взойдёт на крыльцо́ и потя́нет за дверь, на него́ обру́шится ли́вень.

— Ну как? — спроси́л Ти́мка.

— Ма́ло, — сказа́л Ру́дик, — э́тим его́ не проймёшь.

— На пе́рвый раз хва́тит, — заме́тил Ти́мка, — не вы́бросит по́сле э́того блокно́тик — приду́маем что́-нибудь почи́ще.

По́сле э́того ребя́та разошли́сь по дома́м, что́бы запасти́сь верёвкой, молотко́м и гвоздя́ми. Ведро́ они́ реши́ли поиска́ть в сеня́х у самого́ де́да.

Когда́ Ти́мка лете́л вдоль байка́льского бе́рега, он уви́дел у основно́го прича́ла, где отшвартова́лся большо́й парохо́д «Ива́н Ба́бушкин», Лавре́нтия. Дед стоя́л к нему́ спино́й, но его́ тру́дно бы́ло не узна́ть по суту́лым плеча́м и ко́смам полуседы́х, нестри́женых воло́с, торча́вших из-под фура́жки. У Ти́мки сжа́лись кулаки́, и он почу́вствовал велича́йшее жела́ние вы́ругаться.

С па́лубы парохо́да сгружа́ли бо́чки, я́щики и кули́ с муко́й. Дед стоя́л на прича́ле, ту́по уста́вившись на гру́зчиков. Они́ поодино́чке перека́тывали по доске́ тяжеле́нные бо́чки с пи́вом. Доска́ прогиба́лась, бо́чки верте́лись и неохо́тно дви́гались вперёд. Ли́ца у рабо́чих блесте́ли от по́та, на руба́хах темне́ли мо́крые пя́тна.

— По́ двое бери́тесь, по́ двое! — вдруг кри́кнул дед ре́зким визгли́вым го́лосом.

Гру́зчики перемигну́лись.

— Ты иди́, папа́ша, свое́й доро́гой, иди́... Не́чего тут кома́ндовать, — бро́сил корена́стый па́рень в си́ней ро́бе.

Дикова́тые, глубоко́ сидя́щие глаза́ де́да, каза́лось, ещё глу́бже запа́ли внутрь. Бо́льше он не сказа́л ни сло́ва. Он вы́нул из карма́на обтрёпанный блокно́т, огры́зком карандаша́ записа́л в него́ что́-то и, не обраща́я внима́ния на гру́зчиков, ме́дленно дви́нулся да́льше.

«Ну до чего́ же кля́узный!» — поду́мал Ти́мка, ускоря́я шаг. И не он оди́н, а все счита́ли де́да таки́м. Стару́ха Анфи́са из сосе́днего до́ма, так та пря́мо называ́ла его́ «тро́нутым». Почти́ ка́ждый день торча́л дед у Байка́ла, а когда́ в бу́хту приходи́л ледоко́л «Ангара́», он сади́лся на перевёрнутую ло́дку и часа́ми, буква́льно часа́ми, смотре́л на него́, на то́нкие, чуть отки́нутые наза́д тру́бы, на ма́чты и остроно́сый стально́й ко́рпус. Ре́дкий стари́к в посёлке не служи́л в своё вре́мя на «Ангаре́», и никто́ не обраща́л на неё осо́бого внима́ния, а вот э́тот дед с прихо́дом её всегда́ появля́лся на берегу́, суту́лый и небри́тый, и исподло́бья смотре́л на «Ангару́». «Ты чего́ э́то, ба́тя, забы́л на ней? Уж не зазно́бу ли?» — спра́шивали проходи́вшие ми́мо моряки́. Стари́к сверли́л насме́шника се́рыми гла́зками и лез в нагру́дный карма́н за блокно́том. «И чего́ он тако́й?» — ду́мал Ти́мка. Живёт в до́ме оди́н с полуслепо́й стару́хой. К други́м на пра́здники приезжа́ют де́ти с внуча́тами, вме́сте хо́дят в кино́, е́здят за ши́шками, ката́ются с гармо́шкой по Байка́лу, а дед Лавре́нтий всегда́ оди́н. Ти́мка слыха́л: то́лько скупы́е, нехоро́шие лю́ди не име́ют дете́й, а когда́ дожива́ют до ста́рости, жале́ют, что не́кому их поддержа́ть, помо́чь, схорони́ть, вот и стано́вятся они́ злы́ми и приди́рчивыми...

Когда́ Ти́мка пришёл домо́й, его́ пла́ны расстро́ила мать.

— Снеси́ Але за́втрак, — сказа́ла она́. — Пое́сть да́же не успе́ла.

В друго́й бы раз Ти́мка наотре́з отказа́лся: о́чень на́до! Пусть не прихо́дит с гуля́нок в два часа́ но́чи и не просыпа́ется за пять мину́т до гудка́ на судове́рфи! Но сего́дня пере́чить ма́тери бы́ло риско́ванно: оте́ц непреме́нно зада́ст ему́ трёпку за морко́вку и непло́хо, чтоб мать заступи́лась и облегчи́ла наказа́ние.

— Ну дава́й, — сказа́л Ти́мка, подхвати́л узело́к с буты́лкой молока́ и пирожка́ми, су́нул за па́зуху молото́к и помча́лся... к до́му Лавре́нтия.

Ребя́та сиде́ли за ча́хлым бурья́ном и поджида́ли его.

— Вот вам пирожо́к, — сказа́л Ти́мка (Альке хва́тит и одного́!), — а я сейча́с верну́сь.

Ма́льчики разделили пирожо́к и взяли́сь за рабо́ту, а Ти́мка полете́л к судове́рфи. У проходно́й он помаха́л перед но́сом сто́рожа узелко́м с едо́й, и тот пропусти́л его́.

Вот она́ — верфь! Если попадёшь на неё — навря́д ли ско́ро уйдёшь. Вокру́г раски́нулись цеха́, скла́ды, мастерски́е. А у бе́рега на стапеля́х[1] гру́зно стои́т гига́нтская «Ангара́», вы́тащенная для ремо́нта, — ты́сяча пятьсо́т пятьдеся́т тонн водоизмеще́ния! Внизу́ лежа́т чёрные кожухи́ — в них бе́гать мо́жно — от её труб, тяжёлые я́корные це́пи и огро́мный я́корь...

Ти́мка вбежа́л по доща́тым мостка́м с наби́тыми поперёк пла́нками на па́лубу ледоко́ла и сра́зу дви́нулся к корме́, где пестре́ли разноцве́тные платки́ девча́т-маляро́в. И тут то́лько мальчи́шка заме́тил, что девча́та не стуча́т, как всегда́, молотка́ми, оббива́я с бо́рта ржа́вчину, а мо́лча сидя́т кружко́м. Ти́мка хоте́л уже́ бы́ло окли́кнуть Алю, как вдруг осе́кся: до него́ донёсся ненави́стный старико́вский го́лос. Мальчи́шка осторо́жно вы́сунулся из-за металли́ческой надстро́йки и тут же спря́тался: так и есть! На фальшбо́рте[2] сиде́л дед Лавре́нтий и, прила́див на коле́нях блокно́т, что́-то стара́тельно запи́сывал в него́. Ве́тер еро́шил ко́смы его́ седова́тых воло́с, торча́вших из-под фура́жки, и отгиба́л полу́ заса́ленного ки́теля.

— Ты что э́то, папа́ша, всё пи́шешь и пи́шешь, — сказа́ла де́вушка-маля́р с золоты́ми серьга́ми, загля́дывая в блокно́т, — то́чно писа́тель како́й.

— Не приставай к челове́ку, — сказа́л бригади́р, пожило́й, с проку́ренными уса́ми, и, когда́ дед отошёл от них, доба́вил поти́ше: — Вы старика́ не тро́гайте, у него́, мо́жно сказа́ть, пра́во на э́то есть.

---

[1] Ста́пель — накло́нный помо́ст для постро́йки судо́в и спу́ска их на́ воду.

[2] Фальшбо́рт — вы́ступ бо́рта су́дна над ве́рхней па́лубой.

— Како́е там пра́во?

— Зна́ла бы, не спра́шивала.

В э́то вре́мя зы́чно прогуде́л заводско́й гудо́к, бригади́р кри́кнул: «Переку́р!» — и девча́та засмея́лись, потому́ что в брига́де не́ было ни одного́ мужчи́ны, а бригади́р ника́к не мог привы́кнуть к э́тому.

Ви́дя, что де́да Лавре́нтия ря́дом нет, Ти́мка вы́шел из-под надстро́йки и подошёл к бригади́ру.

— Дя́денька, а како́е у него́ пра́во? — спроси́л он.

— Это у кого́?

— А у де́да Лавре́нтия.

— Како́е пра́во, спра́шиваешь? — Бригади́р доста́л из карма́на смя́тую па́чку «Беломо́ра», глубоко́ затяну́лся, сказа́л одно́й из девча́т: — Подви́нься-ка! — и сме́рил Ти́мку взгля́дом с головы́ до ног. — Тебе́ ско́лько ле́т-то? Двена́дцать? Мне в ту по́ру бы́ло, пожа́луй, побо́льше. Уже́ винто́вку в рука́х держа́л. Да, давно́ э́то бы́ло...

Ти́мка присе́л на ко́рточки; бригади́р, ка́жется, собира́лся рассказа́ть что́-то интере́сное...

— Давно́ э́то бы́ло. «Ангара́» стоя́ла в порту́ Байка́л, и вдруг по кораблю́ разнёсся слух: колча́ковцы, отступа́я из Иркутска, привезли́ на ледоко́л зало́жников, большевико́в, три́дцать одного́ челове́ка. По́дали колча́ковцы кома́нду — подыма́ть пары́. Ослу́шаешься — свине́ц в заты́лок. Взяли́сь кочега́ры за лопа́ты, швыря́ют в то́пки у́голь. Пла́мя, как в аду́: клоко́чет, глаза́ да зу́бы блестя́т. Вдруг слы́шат толчо́к: от сте́нки отвали́ли. Швыря́ют у́голь, а у сами́х душа́ не на ме́сте. Не торо́пятся то́пку загружа́ть. Что́-то недо́брое зате́яли колча́ковцы, но попро́буй догада́йся — что? Разболе́лась у Лавре́нтия голова́ — он то́же кочега́ром был, — жар виски́ ло́мит. «Дай, — поду́мал, — вы́йду, во́здуха све́жего хвачу́».

Вы́шел Лавре́нтий из кочега́рки и ви́дит: вдоль борто́в и на корме́ колча́ковцы стоя́т с винто́вками в рука́х — бе́лые папа́хи, башлыки́ крест-на́крест. Моро́з жжёт, аж но́здри слипа́ются. Выво́дят двое солда́т из трю́ма босо́го,

в галифе́ и дра́ной нате́льной руба́хе челове́ка со скру́ченными за спино́й рука́ми. Подвели́ к корме́, пригну́ли го́лову. Оди́н красноро́жий верзи́ла уда́рил его́ с разма́ху по заты́лку деревя́нной колоту́шкой — бы́ли таки́е на су́дне, чтоб намёрзший лёд с ко́рпуса оббива́ть. Уда́рил — и нет челове́ка. Дво́е подхвати́ли его́ за́ ноги — и за́ борт.

А сза́ди дыми́л «Кругобайка́лец», лома́л лёд, топта́л сбро́шенные тру́пы, чтоб ни одного́ не оста́лось на льду. На корме́ ско́льзко от кро́ви, в ку́чу сва́лены пальто́, бекéши[1], сапоги́ и тужу́рки. Оди́н колча́ковец де́ржит под мы́шкой хро́мовые сапоги́, из карма́на друго́го торчи́т сви́тер... Переступа́ют с ноги́ на́ ногу, ду́ют в ва́режки, ёжатся.

Сла́бо све́тит луна́, блести́т и́ней на штыка́х и затво́рах, круты́е со́пки сму́тно беле́ют в темноте́. Отчётливо слы́шно, как хрусти́т, прола́мываясь, лёд, как тяжело́ вздыха́ет маши́на. Вот что тут де́лается, а они́ ничего́ не зна́ют! Ох и разобра́ло здесь Лавре́нтия... Вы́шел чи́стым во́здухом подыша́ть, а сам стои́т и задыха́ется — во́здуха не хвата́ет, всё гори́т внутри́, сло́вно швырну́ли его́ самого́ на лопа́те в о́гненную то́пку...

Ви́дит — ещё одного́ выво́дят: босо́й, в бе́лой руба́хе с расте́рзанным во́ротом. Посмотре́л Лавре́нтий на него́ — и пря́мо ду́рно ста́ло: Ми́шка, старшо́й его́ сын... Лицо́ худо́е, чёрное, глаза́ ввали́лись, щёки и ше́я в синяка́х и кровоподтёках, гу́бы опу́хли. А Лавре́нтий стои́т как деревя́нный и себя́ не чу́вствует. То́лько гу́бы ше́пчут: «Го́споди, е́сли ты есть на не́бе, как ты мо́жешь смотре́ть на э́то?» И кровь сло́вно ухо́дит из те́ла, голова́ кру́жится.

Кри́кнул Лавре́нтий что́-то, бро́сился к сы́ну, да штыки́ в грудь упёрлись. Схвати́ли его́, оттащи́ли, ору́т: «Вме́сте с ним хо́чешь? А ну, наза́д!»

Смерть сдави́ла дыха́ние Лавре́нтия, но́ги примёрзли к па́лубе, в голове́ чугу́нный звон то приближа́ется, то ухо́дит... Слы́шит, коло́тят его́ в живо́т и спи́ну, но бо́ли

[1] Бекéша — стари́нное долгопо́лое пальто́.

не чу́вствует. И вдруг ви́дит: Михаи́л как рванётся, тре́снули верёвки, охра́нники разлете́лись по па́лубе, винто́вки загреме́ли о желе́зо. Он садану́л одного́ ного́й в лицо́ да то́лку-то что — босо́й...

«Га́ды! — захрипе́л он. — Нас три́дцать оди́н, а вас со́тни... Убива́йте нас, бе́йте... Всё равно́ наро́д победи́т!.. А вы... вы...»

Навали́лись на него́ колча́ковцы, заломи́ли ру́ки, рот портя́нкой заткну́ли, коло́тят прикла́дами, пиха́ют сапога́ми в живо́т, подво́дят к корме́. Он мота́ет голово́й, ве́тер во́лосы еро́шит, броса́ет на глаза́. Пригну́ли его́ к фальшбо́рту. «Живе́й!» — крича́т палачу́, и тот уже́ колоту́шку подыма́ет.

«Наро́д не оси́лишь... На́ша возьмёт!» — донесли́сь до Лавре́нтия глухи́е, заду́шенные слова́.

Что бы́ло да́льше — он не по́мнил. Как во сне слы́шал — та́щат куда́-то, пото́м швыря́ют, и он полете́л вниз, счита́я голово́й желе́зные ступе́ньки тра́па. Очну́лся то́лько тогда́, когда́ ребя́та вы́лили на́ голову ведро́ воды́.

«Что тако́е?» — спроси́ли они́.

«Сы́на, сы́на моего́ то́лько что... колоту́шкой... по голове́...»

Вот здесь э́то бы́ло, — ко́нчил бригади́р. — Отсю́да выводи́ли, здесь ста́вили и сбра́сывали вон туда́... В Иркýтском музе́е колоту́шка храни́тся... — в музе́е-то быва́л? — волоски́ нали́пшие видны́. Оста́лись с той но́чи...

Ста́ло о́чень ти́хо. Не́сколько девча́т, забы́вших про обе́д, молча́ли, и по Ти́мкиному те́лу пробежа́ла ледяна́я дрожь.

— И э́то бы́ло на «Ангаре́»? — спроси́л он.

— А то где же? Эх ты, таки́е ве́щи знать на́до.

— А пото́м? — спроси́ла одна́ из девча́т.

— Пото́м? Партиза́нить ушли́ мы пото́м с Лавре́нтием... Ох, как не́нависть к душе́ прикипе́ла. Прикипе́ла и

не отпускáла, покá послéднего белякá не порешúли. Громúли их — рукá ни рáзу не дрóгнула, а ты спрáшиваешь, откýда прáво?

Тúмка, холодéя, сидéл на кóрточках, и перед егó глазáми дрожáли и расплывáлись девчáта, и рыжеýсый бригадúр, и пáлуба ледокóла. И вдруг, как раскалённым гвоздём, егó прожглá мысль: ведрó с водóй!

Тúмка стал потихóньку отступáть от надстрóйки. Чтоб не спускáться по открытым мосткáм, нырнýл в люк какóго-то трюма, по шáткому трáпу спустúлся в каюту, толкнýл ржáвую дверь и побежáл по коридóру. Добрáлся до отвéрстия, где с кóрпуса был сóрван стальнóй лист, и вылез нарýжу. Сжимáя в рукé узелóк с Алиным зáвтраком, пронёсся по ýлице.

— Провáливайте! — крúкнул он, подбегáя к дóму дéда Лаврéнтия, и, не глядя на изумлённые лúца ребят, снял ведрó с водóй и обрéзал ножóм верёвку...

Тúмка шёл домóй по центрáльной ýлице. Ярко светúло сóлнце, облакá мéдленно плыли на Иркýтск, и с мóря тянýл прохлáдный вéтер. С вéрфи долетáл стук молоткóв, упрямый и жáркий, сýхо трещáла электросвáрка, и устáло ýхал в кýзнице мóлот. Тúмка шёл вдоль мóря и чýвствовал стрáнную лёгкость на сéрдце. Проходя́ вóзле причáла, где ещё стоял «Ивáн Бáбушкин», Тúмка вдруг увúдел, что грýзчики пó двое скáтывают бóчки и онú ужé не крýтятся и не скользят по доскé. «Знáчит, и здесь узнáли, кто такóй дед Лаврéнтий», — подýмал Тúмка и зашагáл домóй.

БЕРБЕРИЙСКИЙ ЛЕВ

В концé ию́ля в гóрод впервы́е пóсле войны́ приéхал областнóй цирк. На столбáх, забóрах и стенáх домóв появúлись пёстрые афúши, и вóзле ярко размалёванного фóкусника, тянýвшего изо ртá бесконéчно длúнную лéнту, толпúлись ребя́та и взрóслые.

Проходя́ мúмо цúрка, Жéня Зáйцев подóлгу останáвливался и с зáвистью глядéл на счастлúвчиков, покупáвших билéты. А когдá на стенáх появúлась нóвая афúша, ещё мóкрая от клéя, Жéня прóсто потерял покóй.

Могýчий жёлтый лев с густóй спýтанной грúвой, широкó открыв зубáстую пасть, готóв был брóситься на вся́кого, кто останáвливался у афúши. А ря́дом с ним спокóйно стоя́ла высóкая тóнкая жéнщина в чёрном плáтье и с улы́бкой смотрéла на хúщника. Сжимáя в прáвой рукé хлыст, лéвой онá добродýшно трепáла егó грúву. «Укротúтельница львов Ирúна Забере́жная», — бы́ло напúсано внизý.

Пра́вда, Же́ня уже́ был оди́н раз в ци́рке, но с сего́дняшнего дня цирк выступа́л с но́вой програ́ммой, а мать де́нег на биле́т бо́льше не дава́ла. В уче́бное вре́мя мо́жно сэконо́мить на за́втраках, но сейча́с бы́ли кани́кулы.

Же́ня постоя́л, повздыха́л и уже́ собра́лся бы́ло уходи́ть, но вдруг кто́-то тро́нул его́ за плечо́. Перед ним стоя́л Са́вва Глухарёв.

— Здоро́во, — лени́во сказа́л он.

— Здоро́во, — отве́тил Же́ня.

— Си́ла! — Са́вва кивну́л на льва.

— А почему́ ра́ньше его́ не пока́зывали?

— В доро́ге простуди́лся, занемо́г. А тепе́рь вы́здоровел. Лев берберийский, на весь мир знамени́тый. Не слыха́л?

— Нет. А как ты прохо́дишь — прорыва́ешься и́ли через запасно́й вход?

— Что я, га́врик како́й-нибудь? Сла́ва бо́гу, вы́шел из того́ во́зраста.

— Зна́чит, по контрама́рке?

Са́вва то́лько присви́стнул:

— Не ерунди́!

С мину́ту они́ постоя́ли мо́лча.

Же́ня пощу́пал в карма́не гри́венник — всё, что у него́ бы́ло, и вдруг сказа́л:

— Жари́ща кака́я! Води́чки не хо́чешь?

— Это мо́жно, — позёвывая, отве́тил Са́вва.

И мальчи́шки пошли́ к перекрёстку, где под полотня́ным наве́сом стоя́ла теле́жка с водо́й.

— Два стака́на чи́стой, — Же́ня положи́л моне́ту в лу́жицу воды́ на теле́жке.

Са́вва ухмыльну́лся кра́ешком губ.

— Прошу́ с сиро́пом, — сказа́л он, — с удво́енной по́рцией. — Он протяну́л продавщи́це но́венькую хрустя́щую трёхрублёвку. — Убери́ свою́ ме́лочь.

Же́ня опусти́л в карма́н мо́крый гри́венник и, что́бы скрыть нело́вкость, отошёл в сторо́нку.

— Так как же ты прохо́дишь? — спроси́л Же́ня, когда́ они́ вы́пили шипу́чей воды́ и отошли́.

— «Как, как»! Что ты приста́л ко мне? Подхожу́ к ка́ссе, беру́ биле́т, подаю́ контролёру... Вот так и прохожу́.

Же́ня ничего́ не отве́тил. Он то́лько пощу́пал в карма́не гри́венник и посмотре́л куда́-то ми́мо Са́ввы: что поде́лаешь, везёт челове́ку!

— Если хо́чешь, могу́ и тебя́ провести́.

— Ты всерьёз?

— Глухарёв не лю́бит трепа́ться [1], запо́мни.

— А когда́? — не осо́бенно ве́ря, спроси́л Же́ня. — Сего́дня?

— За́втра.

— А где встре́тимся? Во́зле ци́рка?

Са́вва ничего́ не сказа́л, взял Же́ню по́д руку, привёл в небольшо́й скве́рик и усади́л на скаме́йку.

— За́втра в пять утра́ придёшь на Двину́. В куста́х во́зле до́мика ба́кенщика. Ясно?

— Ага́, — ничего́ не по́нял Же́ня.

— На ме́сте всё объясню́. И чтоб не трепа́ться никому́. Ясно? Моги́ла. А ве́чером в цирк с тобо́й схо́дим. Ну, я пошёл. Гуд бай.

Са́вва встал, стряхну́л пыли́нку с чёрных, хорошо́ вы́глаженных брюк, кивну́л ему́ и зашага́л через скве́рик на центра́льную у́лицу, а Же́ня оста́лся сиде́ть.

Ничего́ де́лать в э́тот день Же́ня не мог. Рассе́янность его́ да́же мать заме́тила — во вре́мя у́жина он стал ви́лкой разме́шивать кусо́чки са́хара в стака́не.

Укла́дываясь в посте́ль, Же́ня о́чень боя́лся проспа́ть. Уйти́ реши́л тайко́м. По́сле ка́к-нибудь оправда́ется — ска́жет, на рыба́лку с дя́дей Ва́сей ходи́л.

Же́ня укры́лся одея́лом, зажму́рил глаза́, и сра́зу же из темноты́ вы́плыла аре́на ци́рка. Весёлые лоша́дки, всхра́пывая, звене́ли колоко́льчиками на сбру́е, кло́ун как

[1] Трепа́ться (вульга́рное) — болта́ть, говори́ть по́пусту.

угоре́лый убега́л от них, фо́кусник, сверка́я разноцве́тными камня́ми на чёрном костю́ме, разма́хивал па́лочкой. Пото́м свет пога́с, и в темноте́ оди́н за други́м взлета́ли горя́щие фа́келы — выступа́л жонглёр...

По́сле ка́ждого но́мера Же́ня вска́кивал с крова́ти и бесшу́мно подходи́л к буди́льнику, кото́рый стоя́л на широ́ком, как слоно́вья спина́, буфе́те.

Сло́вом, спать в э́ту ночь не пришло́сь...

Осторо́жно прихло́пнув на францу́зский замо́к дверь, Же́ня зашага́л по спя́щему го́роду к реке́. Со́лнце взошло́ неда́вно и ещё не успе́ло нагре́ть во́здух. На у́лицах — ни души́. Одни́ то́лько дво́рники полива́ют тротуа́ры, и дли́нные чёрные шла́нги, как инди́йские уда́вы, шевеля́тся на асфа́льте. Во́зчики в высо́ких фурго́нах развозят по бу́лочным хлеб у́тренней вы́печки, и в во́здухе вку́сно па́хнет поджа́ренной ко́рочкой.

Же́ня сглотну́л слюну́ и приба́вил ша́гу.

Во́зле Двины́ ста́ло ещё свеже́й. С реки́ дул вла́жный. колю́чий ветеро́к, и по воде́ пробега́ла ме́лкая рябь, похо́жая на гуси́ную ко́жу.

По круто́й тро́пке Же́ня спусти́лся к до́мику ба́кенщика. Санда́лии мя́гко вя́зли в сыро́м от росы́ песке́. В густо́м ивняке́ его́ уже́ дожида́лся Са́вва. Обхвати́в рука́ми коле́ни, он сиде́л с папиро́сой в зуба́х на валуне́ и гляде́л на Двину́. То́нкими голубы́ми ни́точками дым отвя́зывался от папиро́сы, расходи́лся и та́ял в во́здухе.

Же́ня поздоро́вался и присе́л на ко́рточки ря́дом. Са́вва коро́ткими затя́жками докури́л папиро́су до золоты́х букв на мундштуке́, бро́сил оку́рок на зе́млю и каблуко́м вдави́л в песо́к. Пото́м сплю́нул сквозь зу́бы — плево́к пролете́л ме́тра три.

— Пришёл то́чно, — сказа́л Са́вва, гля́нув на ручны́е ча́сики «Побе́да».

Же́ня то́же гля́нул: часы́ бы́ли с золоты́ми стре́лками и пока́зывали ро́вно пять часо́в и пять мину́т.

— Зна́чит, вот, — продолжа́л Са́вва. — Де́ло про́ще

па́реной ре́пы. Вчера́ ве́чером я поста́вил на плота́х не́сколько перемётов. Кру́пная ры́ба идёт то́лько но́чью. Ста́вил, сам понима́ешь, тайко́м, чтоб никто́ не заме́тил. А то нема́ло есть ворю́г: уви́дят — и проща́й перемёт! А о́н-то де́нежки сто́ит! Одного́ шнура́ ме́тров два́дцать А поводки́ с крючка́ми? Со́вести нет у люде́й!

Же́ня слу́шал не моргну́в гла́зом.

— Оди́н я, сам понима́ешь, не успева́ю просма́тривать все три перемёта. Часо́в в семь приезжа́ют во́зчики за дрова́ми: прихо́дится торопи́ться, чтоб не увида́ли. Так вот ты мне помо́жешь. Твой перемёт стои́т вон там. Ви́дишь? — Са́вва показа́л руко́й.

— Ви́жу, — отве́тил Же́ня.

Са́вва доба́вил, что де́йствовать на́до бы́стро. Сняв ры́бу, перемёт ну́жно сно́ва опусти́ть в во́ду — но́чью Са́вва сам наживи́т на крючки́ черве́й.

— Ры́бу наде́нешь на э́то, — зако́нчил Са́вва и дал Же́не две па́лочки с накру́ченной на них верёвочкой. — Ступа́й.

Са́вва бы́стро пошёл по бе́регу к са́мому да́льнему плоту́.

Вна́чале Же́ня забра́лся на бли́жний плот. Концы́ брёвен бы́ли на́крепко прикру́чены и́вовыми и берёзовыми пру́тьями к дли́нным жердя́м. С э́того плота́ Же́ня перешёл на второ́й, с шалашо́м. Добра́вшись до кра́я, огляну́лся и присе́л на ко́рточки. Чтоб не замочи́ть рукава́ ку́рточки, он отстегну́л пу́говки на манже́тах и до са́мых плеч заката́л рукава́. Пото́м прилёг, опусти́л ру́ки в во́ду и стал ша́рить по сре́зу то́лстых, ско́льзких брёвен.

Есть! Его́ па́льцы косну́лись ту́го натя́нутой верёвки. Же́ня стал торопли́во выбира́ть её и ско́ро уви́дел тёмно-бу́рый кирпи́ч. От верёвки отходи́л вито́й пло́тный шнур перемёта. Опусти́в груз на плот, Же́ня потяну́л за шнур — тот ре́зко дёрнулся, и по те́лу ма́льчика пробежа́ла дрожь, сло́вно сквозь шнур был пропу́щен ток.

Ры́ба! Же́ня уве́ренней потяну́л к себе́ снасть. Чем

бли́же подтя́гивал он перемёт, тем сильне́й сопротивля́лась ры́ба. Же́ня не заме́тил, как прохла́дные ка́пли по рука́м кати́лись под руба́ху, как с плеча́ съе́хал зака́танный рука́в и намо́к в воде́. Что́бы перемёт не запу́тался, он, выбира́я, аккура́тно раскла́дывал его́ на краю́ плота́.

На одни́х поводка́х висе́ли пусты́е крючки́, на други́х — че́рви бы́ли обо́рваны до са́мого жа́ла, а на тре́тьих...

Вот в глубине́ жа́рко блесну́ло что́-то, и Же́ня рывко́м вы́бросил ры́бу на плот. Кру́пный краснопёрый язь я́ростно рабо́тал хвосто́м, то открыва́я, то закрыва́я ма́ленький, ко́со поста́вленный рот. Же́ня придави́л язя́ коле́ном к бревну́ и стал торопли́во выбира́ть оста́вшийся шнур. Мину́т через пять он опусти́л снасть в во́ду и побежа́л к бе́регу. На его́ сни́зке[1] болта́лись два больши́х язя́ и три о́куня.

Са́вва то́же пришёл с бога́тым уло́вом. Прики́нув на вес Же́нину сни́зку, он прикуси́л ве́рхнюю губу́:

— Килогра́ммчика два бу́дет. Ну, тепе́рь мо́жешь идти́ досыпа́ть. — Са́вва запра́вил руба́ху под фло́тский ремёнь, пото́м вы́нул из карма́на папиро́су, отверну́лся от ве́тра, разжёг в ладо́нях спи́чку и глубоко́ затяну́лся. — И чтоб никому́. Ясно? Вида́л, каки́е ры́бные места́. А то други́е пова́дятся.

— Хорошо́, а когда́...

— Ро́вно в семь три́дцать у ка́ссы, — переби́л Са́вва, и вдруг он дёрнул Же́ню за́ руку и упа́л: — Ложи́сь!

Суту́лый стари́к в овчи́нном полушу́бке, с у́дочками и сачко́м в рука́х ме́дленно спуска́лся к реке́.

— Ползи́ за мной! — прошипе́л Са́вва.

Стари́к взобра́лся на плот и неуве́ренно пошёл по неусто́йчивым брёвнам.

— Ползи́, кому́ говорю́! — гро́мко зашепта́л Са́вва и пнул прия́теля ного́й. — Или не хо́чешь на льва пойти́?

[1] Сни́зка — бечёвка и́ли пруг с нани́занной по́йманной ры́бой.

Но Же́ня не дви́гался и ждал, что бу́дет де́лать стари́к. Стари́к подошёл к тому́ ме́сту, где то́лько что был Же́ня, положи́л на брёвна сачо́к, у́дочки и ведёрко. Пото́м снял полушу́бок, засучи́л рукава́ руба́хи, опусти́л в во́ду ру́ку и стал за верёвку выта́скивать кирпи́ч. Же́ня смотре́л на старика́.

Вот он вы́брал пусту́ю снасть, утёр усы́, вы́нул из противога́зной су́мки консе́рвную ба́нку и принялся́ надева́ть на крючки́ черве́й. Погрузи́в кирпи́ч на дно, он вы́мыл ру́ки, вы́тер их о полушу́бок и усе́лся на жердь. Пото́м доста́л кисе́т. Но цига́рку почему́-то не крути́л, а неподви́жно сиде́л на краю́ плота́ и заду́мчиво смотре́л на́ реку.

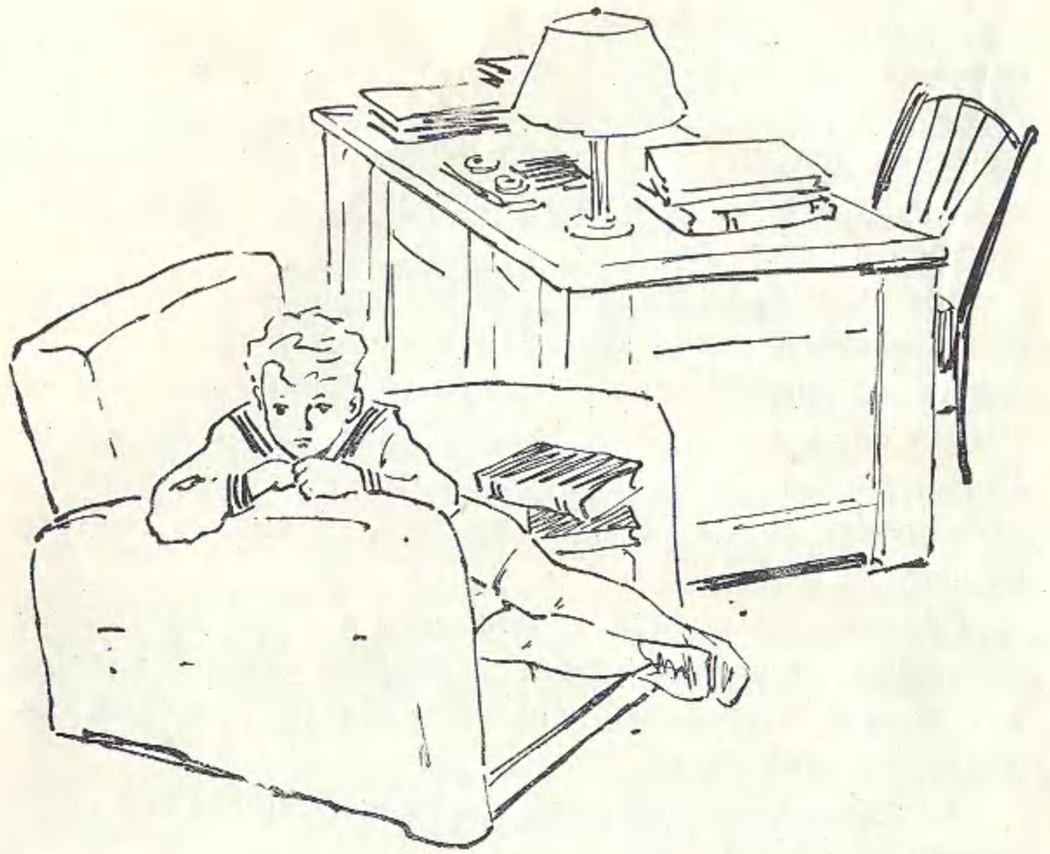
Со́лнце уже́ подняло́сь дово́льно высоко́. За Двино́й протя́жно, на ра́зные голоса́ закрича́ли заво́ды, напомина́я лю́дям, что рабо́чий день наступи́л. На при́стани разда́лся же́нский смех.

А стари́к всё сиде́л в той же по́зе и неподви́жно смотре́л на холо́дную во́ду.

Же́ня оберну́лся к Са́вве.

— Ну, чего́ как рак глаза́ вы́пучил? — недо́бро спроси́л Са́вва. — Стру́сил?

Же́ня ничего́ не отве́тил. Он подня́лся и побежа́л прочь. Он бежа́л по у́зкой, мо́крой от росы́ тропи́нке, по нога́м хлеста́ли тяжёлые ве́тки куста́рников, а спи́ну жёг печа́льный старико́вский взгляд. Ему́ уже́ бы́ло всё равно́, что он не попадёт в цирк, о кото́ром мечта́л, и не уви́дит знамени́того берберийского льва.



ТВОЯ АНТАРКТИДА

В подъе́зде большо́го до́ма стоя́ли тро́е ребя́т и смотре́ли, как во дворе́ шуми́т ли́вень. Ли́вень был тако́й си́льный, что земля́, каза́лось, кипе́ла от него́, а тротуа́р, о кото́рый он вдрызг разбива́лся, дыми́лся бе́лой пы́лью. Вода́ осатане́ло клокота́ла в водосто́чной трубе́, я́ростно выхлёстывала нару́жу и му́тным, пе́нистым ручьём бежа́ла вдоль тротуа́ра.

Иногда́ бры́зги долета́ли до ребя́т, и тогда́ ста́рший из них, Игорь, недово́льно мо́рщил перено́сицу и отодвига́лся наза́д. Второ́й ма́льчик, Серёжка, смотре́л на ли́вень неподви́жными испу́ганными глаза́ми — он никогда́ ещё не ви́дел тако́го си́льного дождя́. И то́лько Алёша, синегла́зый и тонконо́гий, в санда́лиях и бе́лых носо́чках, был рад.

— Льёт, как тропи́ческий! — крича́л он, заглуша́я плеск ли́вня. — Как в Африке! Он там дере́вья лома́ет и хи́жины сно́сит. И обезья́нкам от него́ спасе́ния нет... А зато́ крокоди́лы... ну и ра́ды!..

Алёша пода́лся вперёд, и на его́ аккура́тной матро́ске с отложны́м воротнико́м и ши́тыми зо́лотом якоря́ми заблесте́ли кру́пные ка́пли.

— Побе́гаем по дождю́? Побе́гаем, а? — нетерпели́во топта́лся он у две́ри.

— Это с како́й це́лью? — хо́лодно спроси́л Игорь.

— А ни с како́й — про́сто так!

— Ну и беги́, промока́й на здоро́вье.

Алёша насу́пился. Но э́то продолжа́лось одну́ секу́нду. Не́ было ещё тако́го сло́ва на земле́, кото́рое могло́ бы погаси́ть его́ аза́рт. Не хо́чет Игорь — и не на́до! Зато́ Серёжка, наве́рно, согласи́тся: он ещё не тако́й большо́й и не тако́й наду́тый, чтоб не захоте́ть побе́гать под ли́внем.

Алёша поверну́л к ребя́там кру́глое, обры́зганное дождём лицо́ с отча́янно горя́щими глаза́ми:

— Серёжка, бежи́м!

Игорь с Серёжкой о чём-то зашепта́лись.

— Ла́дно, — гро́мко согласи́лся Игорь, — то́лько вме́сте. Слу́шай мою́ кома́нду: раз, два...

Алёша весь напря́гся.

— Три!..

Алёша стреми́тельно пры́гнул в ли́вень. Со всех сторо́н его́ сра́зу окати́ло водо́й, сло́вно он пры́гнул в ре́ку. Стру́и бе́шено хлеста́ли по лицу́, по плеча́м, стека́ли по спине́ и нога́м, ручья́ми сбега́ли с рук.

Но что э́то тако́е? Прия́тели по-пре́жнему стоя́т в подъе́зде. Неуже́ли стру́сили?

Алёша стал нейстово пляса́ть на асфа́льте, чтоб разже́чь и вы́гнать из подъе́зда свои́х ро́бких и вя́лых прия́телей. Он шлёпал себя́ по обви́сшей тёмной ку́рточке, хло́пал в ладо́ши и пронзи́тельно визжа́л. Но ребя́та ни

на сантиме́тр не вы́сунулись из две́ри. Тогда́ Алёша влете́л в подъе́зд:

— Стру́сили?

— Уйди́, мо́края кры́са! — зашипе́л Игорь.

Оба прия́теля шара́хнулись от него́ в глубь подъе́зда и, хвата́ясь за животы́, вызыва́юще гро́мко рассмея́лись и побежа́ли вверх по ле́стнице.

— Преда́тели! — закрича́л Алёша с го́речью, отжима́я матро́ску и штаны́. — У, по́длые!..

На у́лице ста́ло смерка́ться. Приближа́лся ве́чер.

Обы́чно в э́то вре́мя из кварти́ры выска́кивала ня́ня На́дька, толстоще́кая де́вка с ры́жими коси́цами, и, разма́хивая алюми́ниевой поварёшкой, оглаша́ла двор зы́чным го́лосом:

— Алё-ёша! Вече-ря́ть!

Ча́ще всего́ Алёша, тяжело́ сопя́, боро́лся с други́ми ребя́тами и́ли бесстра́шно пры́гал с помо́йки в песо́к — а ну, кто да́льше! На́дьке приходи́лось гоня́ться за ним, хвата́ть за́ руку и си́лой тащи́ть в подъе́зд.

Но сего́дня ня́ню отпусти́ли на выходно́й день в дере́вню, и за Алёшей никто́ не шёл. Идти́ домо́й самому́ о́чень непривы́чно, но что поде́лаешь... Алёша глубоко́ вздохну́л: на́до — не бу́дешь же до́ ночи торча́ть оди́н в э́том тёмном, ску́чном подъе́зде. К тому́ же, че́стно говоря́, не так уж прия́тно чу́вствуешь себя́ в мо́крой оде́жде: штаны́ ли́пнут к нога́м, матро́ска пло́тно приста́ла к животу́ и спине́, в санда́лиях ча́вкает вода́. Хо́лодно! Зу́бы так и выбива́ют ме́лкую дробь...

Алёша ме́дленно поднима́лся по ле́стнице, оставля́я на ступе́ньках мо́крые следы́ санда́лий. Он обду́мывал, что́ бы тако́е совра́ть ма́тери. Мо́жет, сказа́ть, что ли́вень заста́л по доро́ге к Вита́льке и укры́ться бы́ло не́где? Так он и ска́жет.

Дверь оказа́лась неза́пертой, и Алёша, лего́нько толкну́в её, вошёл в пере́днюю, где стоя́л бе́лый, ды́шащий моро́зом холоди́льник и на лоси́ных рога́х висе́ли

пальто́ и се́рая шля́па отца́. Алёша осторо́жно прикры́л за собо́й дверь и стал прислу́шиваться. Из глубины́ кварти́ры доноси́лся че́й-то незнако́мый, ре́зкий голос:

— О нас ты не ду́маешь, о себе́ бы хоть поду́мал!.. Ах, оста́вь, я всё э́то зна́ю...

Алёша так и засты́л с полуоткры́тым ртом. Кто э́то? Неуже́ли ма́ма? Коне́чно, ма́ма! Она́ говори́ла бы́стро и серди́то. Го́лос её дрожа́л, и она́ глота́ла ко́нчики слов. Наве́рно, что́-то случи́лось. Таки́м то́ном ма́ма никогда́ ещё не говори́ла. Го́лос у ма́мы всегда́ был споко́йный, певу́чий. А тепе́рь Алёше да́же тру́дно бы́ло предста́вить её лицо́. И вообще́ ма́ма мя́гкая и невре́дная, не то что э́та толстоще́кая, крикли́вая На́дька.

До́ма ма́ма бесшу́мно хо́дит в ковро́вых ту́флях с кра́сными помпо́нчиками, в блестя́щем шёлковом хала́те, на кото́ром вы́шиты павли́ны с золоты́ми хвоста́ми и зелёные па́льмы. Це́лыми дня́ми ма́ма сиди́т на широ́кой тахте́, подожа́в но́ги, и чита́ет каки́е-то кни́ги в ко́жаных переплётах с рассыпа́ющимися пожелте́вшими страни́цами. Иногда́ ма́ма да́же выхо́дит на ку́хню к На́дьке со страни́чкой в руке́: про́бует суп и одновреме́нно чита́ет — вот, ви́дно, интере́сно! Одна́жды Алёша нашёл в пере́дней одну́ таку́ю поте́рянную ма́мой страни́чку, но она́, как назло́, оказа́лась неинтере́сной — про каку́ю-то замира́ющую от тоски́ грудь и поцелу́и. Алёше да́же нело́вко бы́ло дава́ть ма́ме э́ту страни́цу — ещё поду́мает, что наро́чно стащи́л. И Алёша незаме́тно водвори́л её на ме́сто. Но остальны́е, наве́рно, интере́сные!

А на то́нком сто́лике у ма́миной крова́ти сто́лько ра́зных коро́бочек, флако́нчиков, ба́ночек и тру́бочек — ну́жно полдня́, чтоб все их откры́ть, посмотре́ть, перенюхать...

Когда́ Алёша прохо́дит с ма́мой по́ двору, сосе́дки почти́ всегда́ говоря́т одно́ и то́ же: у тако́й молодо́й ма́мы тако́й большо́й сын. Что он большо́й, э́то ве́рно, и спо́рить здесь не прихо́дится, но почему ма́ма молода́я? Ведь ей уже́ два́дцать во́семь лет! А е́сли говори́ть про отца́,

так он совсе́м стари́к — ему́ три́дцать три! И, е́сли б он не бри́лся через день, его́ бородо́й мо́жно бы́ло бы подпоя́саться, да ещё ко́нчик оста́лся бы, что́бы с кото́м поигра́ть. Но иногда́ сосе́дки говоря́т про́сто возмути́тельные ве́щи: «Ах, како́й у вас, Еле́на, сын!.. Краса́вчик!.. Пре́лесть, а не ма́льчик! А каки́е у него́ ресни́цы — пуши́стые, дли́нные, чёрные, а кудря́шки бе́лые... Де́вочке бы они́ доста́лись — на всю жизнь была́ бы счастли́вая...»

Уж э́то бы́ло сли́шком. Алёша вырыва́лся из рук ма́тери, убега́л за сара́й. Он с остервене́нием еро́шил во́лосы, зелёной траво́й натира́л лицо́. Зате́м он реши́л вы́дергать все до одно́й ресни́цы. Шту́ки три вы́рвал, но э́то оказа́лось бо́льно, и он махну́л руко́й: пусть остаю́тся девчо́ночьи ресни́цы, и с ни́ми ка́к-нибудь проживёт. Ведь са́м-то он, чёрт побери́, мужчи́на!

Когда́ Алёша приходи́л домо́й и пока́зывал отóрванную подо́шву, ма́ма никогда́ не руга́лась, а то́лько удивлённо спра́шивала, обо что э́то он так сада́нул ного́й [1]. Зате́м неме́дленно посыла́ла На́дьку в обувно́й магази́н, и сно́ва консе́рвным ба́нкам и кирпича́м, заменя́вшим мяч, приходи́лось ту́го.

Да, ма́ма у него́ хоро́шая и о́чень краси́вая, и в кино́ таки́х не встре́тишь! И живётся ей о́чень ве́село. Да́же без отца́ не скуча́ет. Подойдёт иногда́ к приёмнику, покру́тит ру́чки, пойма́ет танцева́льную му́зыку, пото́м блеснёт глаза́ми, щёлкнет па́льцами и одна́ закру́жится по ко́мнате, приде́рживая руко́й разлета́ющиеся по́лы хала́та; зате́м прито́пнет каблуко́м и гро́мко-гро́мко рассмеётся, встря́хивая золоти́стыми ло́конами. Ну совсе́м как де́вочка! А когда́ ей не нра́вится На́дькин суп, скриви́т гу́бы, смо́рщит нос — ну точь-в-то́чь как семиле́тняя Ирочка из сосе́дней кварти́ры!

Если б не проклятая На́дька, кото́рая четы́ре ра́за в день увола́кивает Алёшу в дом, жизнь у него́ была́ бы совсе́м беззабо́тная.

[1] Сада́нул (сада́нуть) ного́й — здесь: уши́б но́гу.

Оте́ц до́ма быва́л ре́дко. Он то надо́лго уезжа́л в далёкие экспеди́ции, то пропада́л в университе́те, где чита́л студе́нтам ле́кции. Когда́ он приходи́л домо́й, ма́ма сра́зу оживля́лась, веселе́ла, оставля́ла свои́ кни́ги с рассыпа́ющимися листка́ми и, как капита́н океа́нского корабля́, отдава́ла приказа́ния На́дьке разогре́ть суп и пода́ть жа́реного цыплёнка в со́усе. По́сле обе́да ма́ма люби́ла поигра́ть на роя́ле. Оте́ц, погрузи́вшись в глубо́кое квадра́тное кре́сло, слу́шал её и кури́л тру́бку, и си́ний дым иногда́ завола́кивал его́ большо́е худоща́вое лицо́.

Он внима́тельно и неподви́жно смотре́л на ма́му, а она́ на него́, не переста́вая игра́ть, потому́ что её то́нкие бе́лые па́льцы са́ми зна́ли, на каку́ю кла́вишу на́до нажа́ть. Её пле́чи вздра́гивали в такт уда́рам рук, а гу́бы едва́ заме́тно улыба́лись. И лицо́ её, чуть запроки́нутое наза́д, станови́лось мечта́тельным, мя́гким и каки́м-то све́тлым, и от улы́бки видне́лись блестя́щие кра́ешки зубо́в.

— Ну как? — спра́шивала она́ у отца́.

— Хорошо́, — заду́мчиво отвеча́л оте́ц.

И Алёша понима́л, что э́то отно́сится не к её игре́, а к тому́, что вообще́ сла́вно жить на све́те. Сла́вно и о́чень интере́сно.

Очень люби́л Алёша и отца́, но люби́л его́ по-друго́му, как мужчи́на мужчи́ну. Оте́ц — путеше́ственник и иссле́дователь, и Алёше прия́тно слу́шать, с каки́м почте́нием разгова́ривают с ним студе́нты, заходя́ иногда́ по ра́зным дела́м на кварти́ру. Но оте́ц не всегда́ быва́ет стро́гим и заду́мчивым. До чего́ заба́вно по́сле обе́да побалова́ться с ним и́ли побе́гать по ковро́вым доро́жкам из одно́й ко́мнаты в другу́ю, а из друго́й — в тре́тью, и тайко́м от На́дьки — оте́ц то́лько посмеётся! — наката́ться на скрипу́чей две́ри. А кни́ги! Ско́лько у отца́ интере́снейших книг про путеше́ствия!

То́лько оди́н раз ма́ма говори́ла с отцо́м не о́чень

ласково. Алёша тогда сделал вид, что ничего не замечает, и, уткнувшись в стол, рисовал на листке перекидного календаря атомный самолёт, а мама недовольно ходила по комнате, и у неё от резких движений развевались полы халата и волосы. Это случилось два года назад, когда они въехали в большую квартиру и отец увешал стены соседней с кабинетом комнаты разными картами. Были тут и старые, невзрачные, очень потёртые карты, подклеенные во многих местах, но были и очень красивые, блестевшие голубизной огромных океанов и морей, синими жилками рек.

— Ты извини меня, — говорила тогда мама, чуть повысив голос, — но ведь это, в конце концов, неэстетично. Гостей будет стыдно. Словно у нас не хватает средств купить хорошие картины... Ведь не аудитория же здесь, а жилая квартира. А если ты думаешь, что они придают кабинету уют...

— Лена, как ты не хочешь понять, — спокойно отвечал отец. — Ведь это мои рабочие карты, а не безделушки для украшения.

Отец говорил правду. Многие карты побывали с ним в экспедициях, и на них красным карандашом были отмечены маршруты. По этим картам Алёша учил азбуку. Он знал, что пятно, смахивавшее на брюкву, — Африка, та самая, в которой водятся жирафы и крокодилы, что земля, похожая на сапог, — Италия. Но это Алёша узнал ещё в позапрошлом году, а в нынешнем всё свободное время он проводил в кабинете и читал отцовские книги про путешествия. Правда, читать книги с мелким шрифтом было трудновато, но какие трудности могут помешать ему узнать, чем кончилась экспедиция Георгия Седова, или Челюскина, или нейстового Магеллана! Он так увлекался книгами, что Надьке приходилось отнимать их во время обеда. А однажды, когда она застукала[1] Алёшу в три утра в постели за чтением увесистого тома

[1] Застукала (застукать) — здесь: застала.

о Колумбе, Надька погасила свет и ничего не сказала, но матери наябедничала, потому что утром, едва проснувшись, Алёша услышал, как мама взволнованно говорила на кухне:

— Прямо не знаю, что с ним делать! Мальчику только девять, а он уже, наверно, больше меня прочитал... Это в его возрасте очень вредно, раннее развитие...

Алёша так и не понял, почему вредно читать интересные книги, но няня, наверно, понимала это хорошо: с этого дня Надька начала ставить все книги в шкаф и запирать на ключ.

Но не только книги и карты были в кабинете отца.

В нём находилось и много других необычных вещей. На столе вместо пресса лежит огромная, тяжёлая капля, не то стеклянная, не то каменная. Это кусок лавы с Ключевской сопки, на которую вместе со студентами поднимался отец. Рядом с куском лавы лежит медный компас: нажмёшь особый рычажок — и лёгкая двухцветная стрелка затанцует под стеклом; а если водить сверху пером, то эта стрелка гоняется за ним, как голодная. А в книжном шкафу одну полку занимают разные высушенные крабы, морские раковины, камни... Под кроватью отца стоят огромные, неуклюжие унты[1] из оленьего меха, привезённые с мыса Дежнева, куда он ездил ещё в студенческие годы...

И вот сейчас Алёша стоял в передней, мокрый, взъерошенный, шмыгая носом, и с бьющимся сердцем слушал какой-то чужой, незнакомый голос матери:

— С твоим здоровьем это говорить? Не на Камчатке ли ты получил хронический насморк?

Алёша вдруг почувствовал, как из носа побежало, и он едва успел вытащить платочек, который мама всегда клала в карман, отправляя его на улицу.

— Лена... — ответил отец, и по тому, как упрямо прозвучал его голос, Алёша сразу представил морщинку,

[1] Унты — высокие меховые сапоги.

кли́нышком упёршуюся в перено́сицу. — Забу́дем про э́то... Ничего́ со мной не случи́тся... Эх, Ле́нка-Лену́ха, зна́ла бы ты, ско́лько я мечта́л об э́той экспеди́ции! Чуть побо́льше на́шего Лёшки был, а уже́ мечта́л... У ка́ждого, понима́ешь ли, челове́ка должна́ быть в жи́зни своя́ мечта́, своя́ Антаркти́да... А без неё како́й же ты челове́к?.. Что э́то за материк!

— На мы́се Де́жнева заболе́л воспале́нием лёгких? Заболе́л. А ведь в Антаркти́де, сам говори́л, моро́зы достига́ют восьми́десяти гра́дусов... — В го́лосе ма́тери слы́шались слёзы: вот-во́т запла́чет.

Алёша собра́л на лбу морщи́ны: о чём э́то они́, со́бственно, говоря́т?

— Да пойми́ же ты: у нас бу́дут осо́бые ку́ртки на гага́чьем пуху́. Никако́й моро́з не стра́шен.

— А плыть... Через всю зе́млю! А што́рмы и бу́ри? Нет-не́т, при твоём...

Алёша насторожи́лся: што́рмы и бу́ри — э́то интере́сно.

— Ле́на, ты опя́ть за своё! Корабли́ у нас мо́щные... И пото́м, ну как же ты не хо́чешь поня́ть: не могу́ я туда́ не пое́хать! Понима́ешь — не могу́! Лёг я вчера́ спать — и попа́л пря́мо в Антаркти́ду. Вы́шел на бе́рег. Вокру́г белы́м-бело́. Сверка́ют а́йсберги, метёт мете́ль. А я стою́ на берегу́, стою́ там, где ещё не ступа́ла нога́ ни одного́ челове́ка. А круго́м снега́ — сухи́е, ве́чные, кото́рые ни ра́зу не та́яли... Ведь ещё то́чно неизве́стно, материк э́то и́ли архипела́г острово́в, прикры́тых ледяны́м щито́м... Есть там среди́ гор и оа́зисы, и да́же цветы́ цвету́т — э́то в Антаркти́де, ты то́лько поду́май! И, е́сли найду́ два цветка́, оди́н — в герба́рий, а друго́й — тебе́... И есть там ещё озёра, и никто́ не зна́ет, получи́лись ли они́ от подзе́мных пожа́ров ка́менного у́гля, и́ли...

Алёша не мог дохну́ть от волне́ния.

— Слу́шай, Ко́стя... Но ведь э́то далеко́... э́то так далеко́! Отту́да мо́жно не верну́ться... А обо мне... обо мне

ты не ду́маешь... Ухо́дишь в университе́т — беспоко́юсь, а то уе́хать туда́... Наконе́ц, у тебя́ есть сын, кото́рого ты обя́зан воспи́тывать...

— Ле́на, да ведь э́то то́лько на́ год. Нас сме́нят. Понима́ешь, всего́ на оди́н год... И при тепе́решней те́хнике э́то совсе́м не опа́сно...

— И при твоём здоро́вье?

— Ле́на!

— Замолчи́!

Алёша был ошеломлён: вот э́то да! На друго́й коне́ц земно́го ша́ра... Како́й счастли́вец оте́ц! А ма́ма то́же хороша́... Ну что ей на́до? Ра́довалась бы, пляса́ла, а то на́ тебе — запреща́ет отцу́ поплы́ть на друго́й коне́ц земно́го ша́ра де́лать откры́тия!.. Вот, ока́зывается, что быва́ет у них до́ма в то вре́мя, когда́ он отпля́сывает под дождём и́ли пры́гает с помо́йки — кто да́льше...

В пере́дней бы́ло так ти́хо, что сухо́е потре́скивание счётчика во́зле две́ри оглуша́ло Алёшу. В носу́ защекота́ло, хоте́лось чихну́ть, но ма́льчик с трудо́м сдержа́лся и продолжа́л насторожённо слу́шать.

— Бо́же мой, кака́я я несча́стная! — проговори́ла ма́ма, сморка́ясь в плато́к. — Други́е де́вочки из на́шего кла́сса вы́шли за́муж за обыкнове́нных сме́ртных и сча́стливы, а я... я...

— Ле́на, — сказа́л оте́ц суро́во, — е́сли так, то я до́лжен предупреди́ть тебя́: я уже́ по́дал заявле́ние ре́ктору университе́та с про́сьбой зачи́слить меня́ в соста́в экспеди́ции, и отступа́ть я не наме́рен, и ещё...

— И что «ещё»? — Ма́ма переста́ла пла́кать.

— И ещё нача́льнику Главсевморпути́...

— Ах, вон оно́ что! — сказа́ла мать каки́м-то но́вым, напряжённым го́лосом, и Алёша по лёгкому шурша́нию хала́та по́нял, что она́ поправля́ет зако́лки в туго́м узле́ воло́с на заты́лке — так она́ де́лала всегда́, когда́ си́льно волнова́лась. — Ты, зна́чит, уже́ и заявле́ние по́дал? И со мной не посове́товался?

За двéрью застучáли каблукú.

Алёша мгновéнно юркнýл в столóвую, чтоб егó не застáли за подслýшиванием. Едвá он успéл уткнýться в пéрвую попáвшуюся книгу — э́то оказáлась «Вкýсная пи́ща», — как в кóмнату вошлá мать и, ничегó не замечáя вокрýг, прошлá в другýю кóмнату, задéв Алёшино лицó полóй халáта. Глазá её смотрéли в однý тóчку, подборóдок был чуть припóднят.

Отéц ходи́л по кабинéту, и дáже мя́гкий ковёр не мог приглуши́ть егó шагóв. На скрип двéри он не обернýлся, но, когдá услы́шал гóлос сы́на, удивлённо посмотрéл на негó.

— Морскýю вáнну при́нял? — спроси́л он.

— Агá! — Алёша улыбнýлся: отцý мóжно сказáть всю прáвду, он поймёт; сам небóсь не раз вымокáл в экспеди́циях под ли́внями.

Отéц щýрился от я́ркого свéта, и егó виски́ с прóседью сверкáли, как соль. По егó лицý, сухощáвому и спокóйному, с реши́тельными склáдками у рта, нельзя́ бы́ло и предстáвить, что он минýту назáд поссóрился с мáтерью.

— Ты что э́то кáшляешь? — вдруг подозри́тельно спроси́л он.

— Я не кáшляю, — сказáл Алёша и, посопéв нóсом, ещё раз кáшлянул.

— А ну поди́ сюдá! — Отéц приложи́л к егó лбу большýю ладóнь и покачáл головóй. — Ты весь дрожи́шь... Тебя́ знобит?

— Я... я... не дрожý, — отвéтил Алёша, зубáми выбивáя дробь и мéлко сотрясáясь всем тéлом.

— А ну переодевáйся, и скорéй! — серди́то сказáл отéц.

Алёша óчень хотéл расспроси́ть об Антаркти́де, кудá мáма не пускáла пáпу и кудá он так рвáлся чуть не с Алёшиного вóзраста, и ещё хотéл сказáть отцý, что хоть мáма и óчень хорóшая и краси́вая, но чтоб в э́том вопрóсе он ни в кóем слýчае не слýшался её.

Но Алёша почемý-то реши́л, что сегóдня лýчше об э́том помолчáть.

А ýтром он проснýлся с жáром. Мáма си́лой втолкнýла под мы́шку грáдусник, холóдный, как собáчий нос, и Нáдька неусы́пно сторожи́ла все дéсять минýт, чтоб хи́трый Алёша не стряхнýл ртуть. И уж, конéчно, температýра оказáлась повы́шенной. Мáма не разреши́ла вставáть, и зáвтракал он в постéли. Днём пришёл врач, прослýшал чёрной трýбкой грудь, спи́ну, изрёк: «Грипп», — и ушёл, а мáма немéдленно погналá Нáдьку в аптéку за лекáрствами.

Чýвствовал себя́ Алёша не так уж плóхо, но покóрно разреши́л сýнуть в рот порошóк и влить столóвую лóжку какóй-то дрянно́й — пришлóсь смóрщиться — микстýры.

Всё э́то бы́ли сýщие пустяки́, на котóрые не стóило обращáть внимáния. С той минýты, когдá он случáйно подслýшал спор роди́телей, егó жизнь крýто измени́лась. Когдá отéц ушёл на рабóту и кудá-то ушлá мáма, а Нáдька вози́лась на кýхне, мáльчик слез с кровáти, шмыгнýл в отцóвский кабинéт, вы́тащил из-под шкáфа клю́чик, кудá егó пря́тала зловрéдная Нáдька, и стал с лихорáдочной поспéшностью читáть всё, что бы́ло про Антаркти́ду. Ди́зель-электрохóд скóро дóлжен отплы́ть, врéмени оставáлось в обрéз, а он мáло, он так позóрно мáло знáет об э́том загáдочном материкé! Он дóлжен знать о нём всё, реши́тельно всё...

Из энциклопéдии вы́яснилось, что матери́к занимáет четы́рнадцать миллио́нов квадрáтных киломéтров — огó! Что срéдняя высотá егó гор — три ты́сячи мéтров — тóже ничегó! Что вóзле Антаркти́ды плáвает ýйма китóв, есть и тюлéни, и моржи́, и импера́торские пингви́ны, но — вот бедá! — нет ни однóго бéлого медвéдя...

Как тóлько в дверь позвони́ли — должнó быть, вернýлась мáма, — Алёша метнýлся в спáльню и юркнýл в постéль. Так продолжáлось три дня, покá емý не разреши́ли вставáть. Тепéрь он почти́ всё врéмя изучáл кни́ги про

Антаркти́ду. В их до́ме, одна́ко, что́-то измени́лось — и э́то бы́ло сра́зу заме́тно. Когда́ Алёша сиде́л за столо́м, оте́ц почти́ не разгова́ривал с ма́терью, а вся́кий раз, когда́ ма́льчик приходи́л со двора́, роди́тели сра́зу умолка́ли — ви́дно, спор ещё продолжа́лся.

И вот одна́жды у́тром мать ушла́, как обы́чно, в спа́льню в хала́те и ковро́вых ту́флях, а вы́шла неузнава́емая — в се́ром костю́ме с у́зкой ю́бкой и в чёрных ла́ковых ло́дочках на о́чень высо́ких каблука́х. Она́ сра́зу ста́ла то́нкой и высо́кой, и Алёша пря́мо залюбова́лся е́ю. От ма́мы так па́хло духа́ми, что в носу́ у Алёши защекота́ло. Лицо́ у неё бы́ло о́чень стро́гое, чуть припу́хшее под глаза́ми.

Наде́в се́рую шля́пку с рези́нкой у подборо́дка, мать ста́ла копа́ться в отцо́вском шкафу́, просма́тривать и откла́дывать в сто́рону каки́е-то бума́жки с кру́глыми и треуго́льными печа́тями. А в одно́й из них, похо́жей на обло́жку тетра́ди, бы́ли закреплены́ кусо́чки киноле́нты, то́лько вме́сто ка́дров бы́ли изображены́ каки́е-то волни́стые ли́нии.

Гремя́ сту́льями и хло́пая дверя́ми, мать верну́лась на ку́хню, отдала́ распоряже́ния На́дьке насчёт обе́да, посмотре́лась в зе́ркало и ушла́ и́з дому. А Алёша то́тчас очути́лся в отцо́вском кабине́те. Он, как э́то о́чень люби́л де́лать оте́ц, усе́лся в глубо́кое квадра́тное кре́сло и, гля́дя на ка́рту полуша́рий, погрузи́лся в мечты́...

Шуми́т океа́н, го́нит на жёлтый бе́рег Африки круты́е грохо́чущие во́лны, сви́щет ве́тер, а по океа́ну, сквозь пе́ну и бры́зги, лома́я но́сом валы́, бы́стро идёт могу́чий ди́зель-электрохо́д. На мо́стике ря́дом с капита́ном стои́т в мехово́й оде́жде оте́ц, ро́слый, широ́кий, прямо́й, с твёрдыми, бесстра́шными глаза́ми. Он смо́трит туда́, отку́да ду́ет ледяно́й ве́тер и го́нит бе́лые плаву́чие а́йсберги, где во мгле и тума́нах лежи́т таи́нственная Антаркти́да...

Алёша поверну́лся к ка́рте и, разгля́дывая в са́мом низу́ её бе́лый кружо́к, изре́занный зали́вчиками и бу́хточками, стал гада́ть, куда́ приста́нет ди́зель-электрохо́д и где бу́дет зимо́вка.

За э́тим де́лом и заста́л его́ оте́ц:

— Ты что и́щешь?

Алёша вздро́гнул, то́чно его́ заста́ли на ме́сте преступле́ния.

— Да вот ищу́, куда́ он приста́нет, — наконе́ц сказа́л он и покрасне́л.

— Не туда́ зале́з. Вот здесь, в райо́не Земли́ Королёвы Мэ́ри. Ви́дишь? — Па́лец отца́ попо́лз по зубча́тому кра́ю бе́лого пятна́ и останови́лся у небольшо́й бу́хточки. — А чего́ э́то тебя́ вдруг заинтересова́ло? — спроси́л оте́ц, выта́скивая из карма́на тру́бку. — И вообще́, при чём тут Антаркти́да?

Алёша покуса́л гу́бы, моргну́л ресни́цами:

— Там у́голь под землёй гори́т и де́лаются озёра.

Оте́ц уда́рил тру́бкой по ладо́ни и рассмея́лся:

— Да э́то то́лько предположе́ние, так сказа́ть — гипо́теза... А вообще́ э́то материчо́к, я тебе́ скажу́! Да... Ты, я ви́жу, кое-что́ уже́ зна́ешь...

И оте́ц рассказа́л ему́ про ше́льфовые льды [1], кото́рые ме́дленно сполза́ют в океа́н и превраща́ются в гига́нтские а́йсберги, и про сне́жные бу́ри, и го́рные хребты́ Антаркти́ды...

Оте́ц говори́л до́лго, увлечённо и так подро́бно, сло́вно перед ним был не девятиле́тний сын, а студе́нческая аудито́рия, но пото́м вдруг замолча́л, чужи́ми глаза́ми посмотре́л на Алёшу и бы́стро заходи́л по кабине́ту, заде́л ного́й за край ковра́, сби́л его́, но поправля́ть не стал.

— Ну, па́пка, ну чего́ ты...

— Хоть бы ты подро́с скоре́е, что ли... А то и поговори́ть в трёх ко́мнатах не́ с кем.

Оте́ц тяжело́ вздохну́л.

---

[1] Ше́льфовые льды — неподви́жные льды, характе́рные для Антаркти́ды.

К ве́черу верну́лась ма́ма. Глаза́ её возбуждённо блесте́ли, гу́бы улыба́лись. Шля́пка на то́нкой рези́нке, разреза́вшей подборо́док, ли́хо сби́та на́бок. Ма́ма бы́стро сняла́ в пере́дней шля́пку, се́рое габарди́новое пальто́ и, попра́вив у зе́ркала во́лосы, ве́село влете́ла в столо́вую с большо́й ко́жаной су́мкой.

На стол посы́пались кульки́ с конфе́тами, ва́флями, коро́бочка с вя́земскими пря́никами — оте́ц о́чень люби́л пить с ни́ми чай. А Алёша получи́л в пода́рок бычка́, бе́лого, с чёрными пя́тнами на лбу. Бычо́к был осо́бенный: сто́ило его́ поста́вить на накло́нную доще́чку, как он, переступа́я по о́череди все́ми нога́ми, ме́дленно сходи́л на стол. Говоря́ че́стно, купи́ ему́ ма́ма э́того бычка́ го́да четы́ре наза́д, Алёша визжа́л бы от восто́рга, а сейча́с уже́ не то... Но не бу́дешь же ма́му обижа́ть и недово́льно криви́ть гу́бы! Алёша заста́вил бычка́ сто́лько раз проде́лать доро́гу по доще́чке, что оте́ц отобра́л его́ и, благоду́шно прихлёбывая чай с пря́никами, сказа́л, что бычо́к уста́л и ему́ ну́жно дать о́тдых.

Чай они́ пи́ли ве́село, шу́мно и да́же усади́ли за стол На́дьку, хотя́ она́ и упира́лась — обы́чно она́ пила́ чай на ку́хне.

Ма́ма носи́лась по ко́мнатам, лёгкая и бы́страя, и уже́ не хло́пала дверя́ми, не греме́ла сту́льями. Всё в их кварти́ре ста́ло как и ра́ньше, до того́ неприя́тного спо́ра, — уютно, ми́рно, светло́.

Ма́ма переста́ла чита́ть на тахте́ то́лстые кни́ги с жёлтыми страни́цами, па́хнущими пы́лью и мыша́ми, переста́ла, как капита́н с корабе́льного мо́стика, отдава́ть приказа́ния На́дьке и вела́ себя́, как рядово́й матро́с, и ка́к-то раз да́же крути́ла в мясору́бке мя́со. Она́ вылета́ла во двор за Алёшей, куда́ ма́льчик убега́л прове́триться, и он уже́ не въезжа́л в подъе́зд на подо́швах санда́лий: он охо́тно откликáлся и бежа́л домо́й.

Про́сто непоня́тно, что ста́ло с ма́мой по́сле того́ ве́чера. Наве́рно, она́ всё-таки поняла́, что отца́ ну́жно отпусти́ть в Антаркти́ду. Поняла́, и ей само́й от э́того ста́ло так ра́достно...

Шли дни. Алёша не тра́тил да́ром вре́мени и де́ятельно гото́вился к экспеди́ции. Он тайко́м от ма́тери на́чал обли́ваться в ва́нной холо́дной водо́й. Ежедне́вно обе́ими рука́ми, сопя́ и красне́я, выжима́л пылесо́с и де́сять раз подтя́гивался на двери́. Он да́же сдружи́лся с дворо́вым псом Ми́шкой, кото́рого ра́ньше боя́лся, — соба́ка могла́ пригоди́ться.

Игорь и Серёжка, кото́рые бесче́стно пре́дали его́ в дождь, бо́льше не интересова́ли Алёшу. Каки́ми ничто́жными показа́лись все их заба́вы и проде́лки по сравне́нию с тем огро́мным и таи́нственным, что надвига́лось на Алёшу!

И вот одна́жды оте́ц верну́лся с рабо́ты позднее, чем обы́чно. Алёша смотре́л на него́ и не узнава́л. Утром ещё шути́л, смея́лся, а тепе́рь ка́к-то сра́зу потемне́л, осу́нулся. Глаза́ пога́сли, пле́чи чуть-чу́ть ссуту́лились. И ступа́л он по ковру́ ка́к-то приглушённо, неуве́ренно, сло́вно был не у себя́ до́ма. Не говоря́ ни сло́ва, он разде́лся и ушёл к себе́ в кабине́т.

Алёша подошёл на цы́почках к две́ри кабине́та и гля́нул в глазо́к замо́чной сква́жины.

Оте́ц лежа́л на дива́не, заложи́в за́ голову больши́е ру́ки с вспу́хшими ве́нами, смотре́л в потоло́к и, сжима́я в зуба́х тру́бку, кури́л. Густо́й си́ний дым иногда́ закрыва́л лицо́, оте́ц не разгоня́л его́, и дым ме́дленно оседа́л на дива́н, на́ пол. Оте́ц смотре́л в одну́ то́чку, затя́гивался, выпуска́л дым...

Алёша осторо́жно толкну́л дверь, вошёл, останови́лся у дива́на:

— Ну что ты, па́па?

— А... э́то ты, Алёша, — сказа́л оте́ц, слегка́ отверну́лся от сы́на и стал смотре́ть уже́ не на потоло́к, а на сте́ну, обве́шанную ка́ртами. Лицо́ како́е-то пятни́стое: уж не пла́кал ли? Щёки запа́ли, под глаза́ми си́ние те́ни.

Холодо́к сму́тной дога́дки пробежа́л по Алёшиной спине́. Он стоя́л у дива́на и неподви́жно смотре́л на отца́.

В кабине́те ста́ло ка́к-то те́сно, пи́сьменный стол и шкафы́ увели́чились в разме́рах, а сте́ны и потоло́к сдви́нулись. За пелено́й ды́ма расплыва́лись корешки́ книг и ка́рты. Дым начина́л оку́тывать Алёшу. Его́ голова́ слегка́ закружи́лась.

— Не пое́дешь? — ти́хо спроси́л он.

— Не пое́ду...

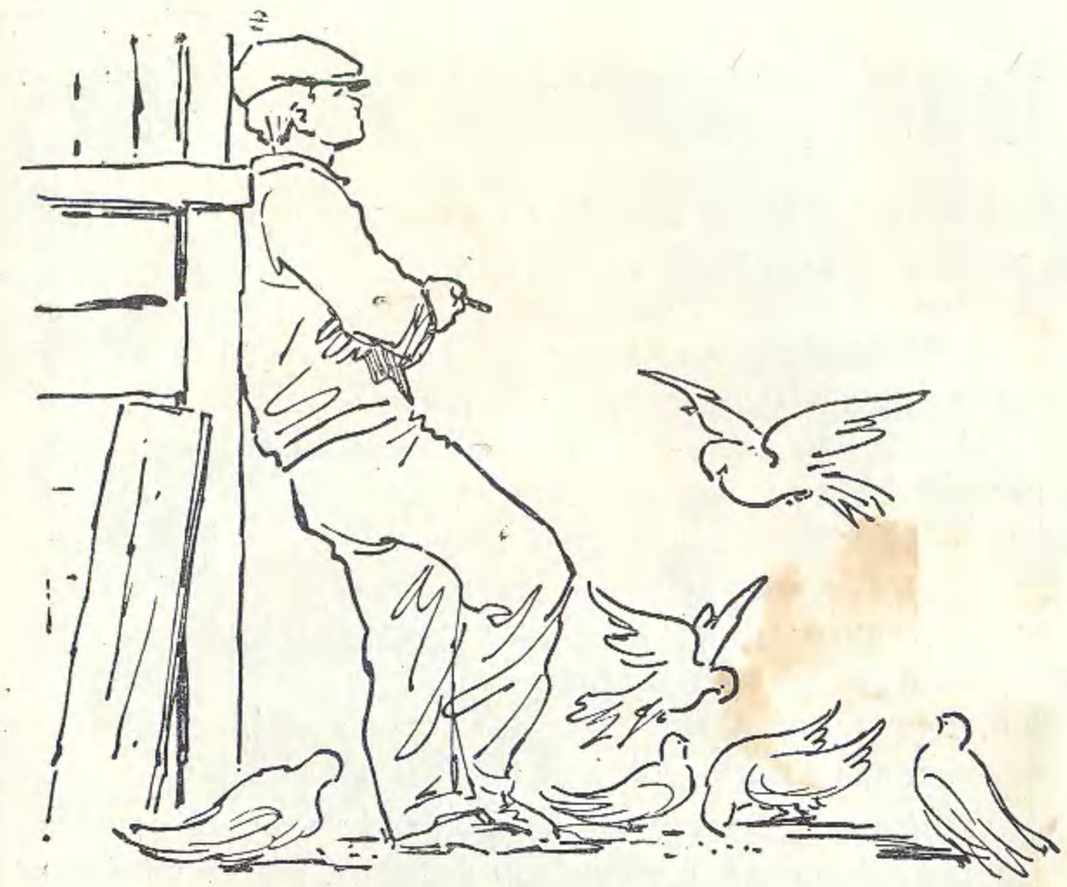
В кабине́те ста́ло так ти́хо, что е́ле слы́шное металли́ческое ти́канье ма́леньких часо́в на отцо́вской руке́ вдруг запо́лнило весь кабине́т.

— А твоя́ Антаркти́да?.. Ты ведь так хоте́л...

— Хоте́л, — произнёс оте́ц и руко́й стал разгоня́ть перед собо́й дым. — Ма́ло ли что челове́к хо́чет...

Оте́ц уста́ло сел, поднёс широ́кую ладо́нь к голове́ сы́на, чтоб погла́дить его́. Но рука́ так и не косну́лась воло́с: Алёша отпря́нул в сто́рону, вы́скочил из кабине́та и, задыха́ясь от подступа́ющих слёз, бро́сился на у́лицу. Он бо́льше не мог остава́ться до́ма. Не хоте́л ви́деть отца́, не мог прости́ть его́ малоду́шия. Он, Алёша, свое́й жи́зни не пожале́л бы, хоть сейча́с уе́хал бы, то́лько скажи́... Эх, па́пка!

На у́лице дул си́льный ве́тер, нёс пыль, обры́вки газе́т, раска́чивал высо́кие тополя́ и трепа́л си́ний матро́сский воротничо́к ма́льчика, прижа́вшегося лбом к холо́дной желе́зной огра́де. Дул ве́тер, и по не́бу медли́тельно и торже́ственно пло́ыли облака́, тяжёлые и гру́зные, как а́йсберги Антаркти́ды.



ДЕПЕША

Ва́лька сиде́л на ко́рточках и из го́рсти сы́пал на зе́млю желтова́тое про́со, а вокру́г него́ ту́кали кре́пкими носа́ми го́луби. Не́которые пти́цы вели́ себя́ не о́чень ве́жливо — толка́лись, подпры́гивали, взма́хивали кры́льями. Ва́лька ши́кал на них. Они́ отлета́ли в сто́рону, забыва́ли оби́ды и, торопли́во переступа́я ро́зовыми ла́пками, опя́ть подбега́ли к его́ руке́ и жа́дно клева́ли зёрна.

Когда́ всё про́со то́нкой стру́йкой вытека́ло из руки́, Ва́лька лез в карма́н пиджака́ за но́вой го́рстью. Это бы́ло его́ люби́мое заня́тие. В хоро́шую пого́ду он всегда́ корми́л свои́х птиц не в те́сной голубя́тне, а тут, пря́мо на дворе́, перед сара́ем. Где́-то за тру́бами хлебозаво́да сади́лось в пе́пельные ту́чи со́лнце, в прозра́чном во́здухе проноси́лись стрижи́, вокру́г воркова́ли и ту́кали носа́ми го́луби, и на душе́ у Ва́льки бы́ло поко́йно и хорошо́.

Но не сто́лько ему́ нра́вились пого́жие вечера́ и зака́т-

ное со́лнце, ско́лько зави́стливые взгля́ды сосе́дских мальчи́шек, кото́рые рассма́тривали птиц, вздыха́я и перешёптываясь.

Голубе́й Ва́лька держа́л с восьми́ лет, с тех пор как оте́ц, шофёр грузово́й маши́ны, привёз ему́ с ры́нка за па́зухой па́ру мона́хов — бе́лых, с чёрными голо́вками птиц. А сейча́с у него́ пятьдеся́т семь голубе́й, и из них ку́плено не бо́льше деся́тка. Остальны́е вы́велись в его́ голубя́тне и́ли бы́ли чужи́ми, сма́ненными его́ же ста́ей. Вот они́ хо́дят перед ним, э́ти прижи́вшиеся и с охо́той приня́вшие но́вое по́дданство го́луби — жёлтый Ми́тька, сире́невый, с золоти́стым отли́вом Звона́рь, кра́сная мохноно́гая голу́бка Зо́рька... Одни́х чужако́в Ва́лька держа́л у себя́, и его́ голубя́тня станови́лась для них второ́й ро́диной; други́х, когда́ перед полу́чкой отца́ конча́лись де́ньги, он продава́л на ры́нке и́ли их ста́рым владе́льцам.

Одна́жды к Ва́льке домо́й прибежа́л мо́крый от по́та толстя́к лет сорока́, в чесучо́вом костю́ме, и стал упра́шивать прода́ть неда́вно по́йманного Ва́лькой го́лубя. Мальчи́шка в э́то вре́мя обе́дал. Пока́ толстя́к волнова́лся и вытира́л платко́м ше́ю и лоб, Ва́лька неторопли́во доеда́л второ́е. Вы́пив компо́т и расколо́в зуба́ми ко́сточки абрико́сов, он мо́лча подня́лся с ме́ста и повёл возбуждённого голубя́тника к сара́ю.

По́йманный чужа́к держа́лся в сторо́нке, на кра́йней жёрдочке, подозри́тельно присма́триваясь к пти́цам, с кото́рыми ещё не успе́л как сле́дует познако́миться. Како́й э́то был го́лубь! Не́жно-кофе́йный, с мя́гкими перехо́дами в па́левые тона́, с краси́во поста́вленной голо́вкой на стро́йной ше́е, он весь свети́лся в тёплых луча́х, па́давших из око́нца, и, каза́лось, сам излуча́л нея́ркий, но удиви́тельно прия́тный свет.

Толстя́к не тре́бовал верну́ть го́лубя, потому́ что хорошо́ знал зако́н голубя́тников: вошла́ твоя́ пти́ца в чужу́ю голубя́тню — проща́йся с ней. Одна́ко толстя́к хоте́л заполучи́ть своего́ беглеца́ подеше́вле. Он расплыва́лся

перед Ва́лькой в улы́бке, ще́дро подсыпа́л из карма́на его́ голубя́м коноплю́, шу́мно хвата́лся за́ голову, восхища́ясь ре́дким подбо́ром его́ голубе́й. Но лицо́ Ва́льки да́же не дро́гнуло в улы́бке.

— Сыно́к, — сказа́л толстя́к, — э́та голу́бка мне дорога́ как па́мять — друг подари́л...

— Плоха́я, е́сли сади́тся куда́ не сле́дует.

— Бо́же мой, твоя́ ста́я не то что одино́кого го́лубя, но и орла́ сма́нит!

Но Ва́лька и на э́тот раз не улыбну́лся.

— Ско́лько дашь? — хо́лодно спроси́л он.

— Полста́. — И, жела́я показа́ть, что он не собира́ется надува́ть, толстя́к тут же стал выта́скивать бума́жник.

Ва́лька отли́чно разбира́лся в це́нах на голубе́й.

— Не пойдёт, — сказа́л он, — э́то ве́нская поро́да.

— Но ведь ты с во́здуха пойма́л его́. С во́здуха...

— Лови́ мои́х — твои́ми бу́дут, — невозмути́мо сказа́л Ва́лька. — Не запреща́ю. Плати́ полторы́ и забира́й своего́ заблудёныша, пока́ он не получи́л от меня́ постоя́нную прописку.

— Бо́же мой, э́то грабёж среди́ бе́ла дня! — закрича́л толстя́к, и его́ щёки запры́гали, как холоде́ц.

— Беру́ по та́ксе, — сде́ржанно сказа́л Ва́лька.

Руга́ясь, толстя́к протяну́л сто пятьдеся́т рубле́й и спря́тал за па́зуху кофе́йную голу́бку...

А в друго́й раз к Ва́льке прибежа́л его́ шко́льный прия́тель Се́нька Су́здальцев за свое́й ча́йкой. Хорошо́ зна́я Ва́лькин хара́ктер, он не стал проси́ть отда́ть ему́ свою́ ча́йку, а протяну́л две деся́тки. Ва́лька спря́тал де́ньги в карма́н.

— Вот ключи́, иди́ бери́, — сказа́л он. Ва́лька доверя́л прия́телю, кото́рый сиде́л через па́рту от него́.

Мно́гие голубя́тники распрода́вали свои́х птиц на ры́нке, лома́ли голубя́тни, потому́ что ря́дом с ни́ми жил тако́й опа́сный сосе́д, как Ва́лька, от кото́рого нельзя́ бы́ло ждать поща́ды.

И вот сейча́с Ва́лька сиде́л на ко́рточках, окружённый голубя́ми, и сы́пал им зерно́, де́лая вид, что не замеча́ет ря́дом стоя́щих мальчи́шек. Го́луби смешно́ пры́гали, чи́стили клю́вами пе́рья, распуска́ли веера́ми хвосты́ и благоду́шно воркова́ли. Ва́лька вы́прямился, закури́л папиро́ску и посмотре́л на́ небо.

На фо́не тёмно-пе́пельных туч лете́л бе́лый го́лубь. Лете́л он ме́дленно и неро́вно, едва́ маха́я кры́льями, то прова́ливаясь, то выпрямля́сь. Су́дя по направле́нию, го́лубь принадлежа́л Во́вке Семы́кину. Во́вка жил на у́лице Фру́нзе, держа́л мно́го голубе́й и был еди́нственным сто́ящим сопе́рником Ва́льки.

— Ну, Во́вка, проща́йся, с белокры́лым, — ти́хо сказа́л Ва́лька, взмахну́л рука́ми и пронзи́тельно сви́стнул.

Вся его́ огро́мная ста́я с хло́паньем и шу́мом подняла́сь в не́бо и взвила́сь навстре́чу одино́кому почто́вому го́лубю. Начала́сь охо́та. Лицо́ у Ва́льки по-пре́жнему остава́лось споко́йным, да́же равноду́шным, и то́лько у́зкие гу́бы бы́ли сжа́ты плотне́й, чем всегда́, да на виске́ упру́го би́лась голуба́я жи́лка.

Его́ ста́я дала́ оди́н круг, и на мгнове́ние одино́кий го́лубь смеша́лся с не́ю. Но Ва́лька не спеши́л ра́доваться. Ста́я забрала́ вле́во, а го́лубь неукло́нно и то́чно, как по расписа́нию, шёл свои́м ку́рсом — к Во́вкиной голубя́тне.

— У-у-у-у́, дья́вол! — вы́ругался Ва́лька, уда́рил каблуко́м в сара́й и вложи́л три па́льца в рот.

Ста́я зашла́ с друго́й стороны́, и го́лубь опя́ть потеря́лся в ней.

Ва́льке всё трудне́й бы́ло сохраня́ть споко́йствие: прице́пится ли, прили́пнет ли на э́тот раз го́лубь к его́ ста́е и́ли сно́ва, равноду́шный и твёрдый, он навы́лет пройдёт ста́ю и благополу́чно опу́стится на свою́ голубя́тню? Ва́льке хоте́лось, Ва́льке о́чень хоте́лось вы́йти победи́телем из э́того поеди́нка — ско́лько глаз наблюда́ет за ним!

Ста́я поверну́ла наза́д — и в том ме́сте, где то́лько что находи́лся бе́лый го́лубь, бы́ло пусто́е не́бо.

Через не́сколько мину́т Ва́лька вы́нес из голубя́тни чужака́. Был он о́чень худ, изможде́н, взъеро́шен, то и де́ло закрыва́л от уста́лости ве́ки и открыва́л клюв. Ва́лька чу́вствовал, как в ладо́нь ему́ коло́тится ма́ленькое голуби́ное се́рдце.

— Далеко́ же ты, ви́дно, лете́л, — сказа́л Ва́лька.

Он всегда́ разгова́ривал с голубя́ми и был уве́рен, что они́ понима́ют его́. Он поду́л на бе́лую, пы́шную, го́рдой поса́дки ше́ю, провёл па́льцем по голо́вке:

— Ну что, попа́лся? Уста́л ши́бко? Силёнок не хвати́ло дотяну́ть? А ведь уже́ бли́зко был... А ещё называ́ется — почто́вый... Эх, ты!

Го́лубь приоткры́л клюв и сно́ва моргну́л ве́ками.

— То́-то я и говорю́, что попа́лся... Пло́хо за тобо́й хо́дит хозя́ин: непо́еный и неко́рмленый. А ну́-ка, на́! — И Ва́лька взял из карма́на горсть про́са и поднёс к клю́ву.

Го́лубь отверну́л голо́вку и стал ещё кре́пче бить се́рдцем в ладо́нь.

— Ишь ты, го́рдый како́й! Помру́, а у чужи́х не возьму́... Так, что ли?

Же́стом профессиона́льного голубя́тника Ва́лька стал расправля́ть маховы́е и хвостовы́е пе́рья, ше́ю, голо́вку. Его́ па́льцы наткну́лись на что́-то жёсткое. Он бы́стро поверну́л го́лубя голово́й вниз. К сухо́й, то́нкой но́жке два рези́новых коле́чка прижима́ли аккура́тно свёрнутую бума́жку.

— Да ты, ока́зывается, с по́чтой! — воскли́кнул Ва́лька, вы́тащив из коле́чек бума́жную тру́бочку.

Держа́ пти́цу в одно́й руке́, он друго́й руко́й положи́л тру́бочку на коле́но и раскатал её. «Ма́ма! — бы́ло напи́сано на прозра́чном листке́. — На́ша экспеди́ция прибыла́ в Сосно́вск. Все здоро́вы. До ско́рой встре́чи! Во́ва».

— Сосно́вск? — спроси́л сам себя́ Ва́лька и ещё раз прочита́л депе́шу. — Так ведь до Сосно́вска пятьсо́т киломе́тров... Слу́шай, го́лубь, э́то пра́вда, что ты лете́л от Сосно́вска?

Го́лубь ничего́ не отве́тил. Но его́ изморённый вид, его́ жёсткое щу́плое те́льце говори́ли са́ми за себя́.

Ва́лька посмотре́л на недостаю́щие пёрышки — уж не с со́колом ли дра́лся? — на грязнова́тый хвост и стал ме́дленно свора́чивать на коле́не депе́шу. От воро́т к нему́ бежа́л Се́нька Су́здальцев и что́-то крича́л. Ва́лька осторо́жно подсу́нул депе́шу под рези́новые коле́чки и поднёс клюв го́лубя к губа́м. Пото́м то́чным движе́нием рук пла́вно подбро́сил го́лубя.

Го́лубь свечо́й взмыл в не́бо и стреми́тельно пошёл пре́рванным ку́рсом к свое́й голубя́тне, то́чно никако́й заде́ржки в полёте и не́ было. Он успе́л немно́го отдохну́ть в рука́х Ва́льки и лете́л уве́ренно и бы́стро. Запроки́нув го́лову, Ва́лька провожа́л его́ глаза́ми до тех пор, пока́ он не скры́лся за кры́шей.

В э́то вре́мя к нему́ подбежа́л Се́нька.

— Чужака́ вы́пустил? — заора́л он.

— Чужака́, — отве́тил Ва́лька.

— Ты... вы́пустил... чужака́? — разде́льно, де́лая па́узу по́сле ка́ждого сло́ва, переспроси́л Се́нька.

— Ага́.

— А моего́... моего́ мне про́дал... А ещё друг называ́ется!

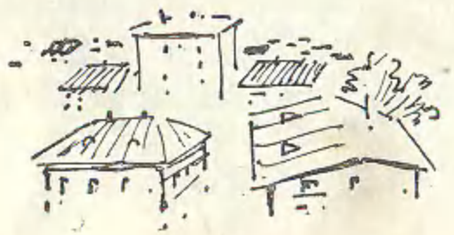
— Тако́го не продаю́т.

— Что, бо́льно до́хлый был? И трёшку бы не да́ли?

— На ты́сячу рубле́й была́ пти́ца, — отве́тил Ва́лька, вздохну́л, махну́л руко́й и пошёл к до́му.

И, уже́ всходя́ на крыльцо́, доба́вил:

— Цены́ не́ было пти́це...



СОДЕРЖАНИЕ

Брат. *Рис. В. Трубко́вича* 5

Земля́, где ты живёшь. *Рис. И. Ильи́нского* 23

Бе́лые буруны́. *Рис. В. Трубко́вича* 46

Дед Лавре́нтий. *Рис. И. Ильи́нского* 56

Берберийский лев. *Рис. В. Трубко́вича* 65

Твоя́ Антаркти́да. *Рис. В. Трубко́вича* 72

Депе́ша. *Рис. В. Трубко́вича* 89

ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

Мошковский
Анатолий Иванович

БЕЛЫЕ БУРУНЫ

Рассказы

Ответственный редактор *А. В. Ясиновская*
Художественный редактор *Н. Г. Холодовская*
Технический редактор *В. К. Егорова*
Корректора
В. К. Мирингоф и *В. В. Самороднова*

Сдано в набор 14/XII 1960 г. Подписано к печати 7/II 1961 г. Формат 84 × 108 1/32 — 3 печ. л. = 5,04 усл. печ. л. (4,21 уч.-изд. л.). Тираж 30 000 экз.

Цена 23 коп.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза.
Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 4641.

Цена 23 коп.